

Карина  Демина

Хельмова дюжина красавиц.
Ненаследный князь



Отношение общества к наличию или отсутствию у вас хвоста во многом определяется модой.

Annotation

Тяжела жизнь королевского актора.

Шалют душегубы, не спят лиходеи, не знает отдыха и ненаследный князь, Себастьян Вевельский, волей Богов наделенный удивительным даром — изменять внешность. За многие годы службы не единожды приходилось ему примерять чужую личину, однако нынешнее задание и для него стало испытанием. Волей генерал-губернатора и собственного любимого начальства предстоит Себастьяну поучаствовать в конкурсе красоты «Познаньска дева» и вычислить колдовку силы небывалой, пока не подобралась она к королевичу, не застила глаза и разум черною волшбой да не развязала новую войну.

Карина Демина

Хельмова дюжина красавиц. Ненаследный князь

Глава 1, по сути своей являющаяся прологом, в которой повествуется о младенческих годах, отрочестве и юности ненаследного князя Вевельского

Родила княгиня в ночь...

Из семейных хроник князей Вевельских

Много позже, на семейном совете, состоявшемся шестого травня года четыре тысячи двадцать пятого от Сотворения мира, было решено, что во всем виновата черная коза, с которой княгиня Вевельская имела неосторожность столкнуться на прогулке.

Откуда бы знать ей, девице благородного происхождения, половину жизни проведенной в тиши и уюте закрытого аглицкого пансиона в окружении столь же благородных и немочных девиц, что брюхатой бабе, ежели встретится ей на пути коза черной масти, надлежит трижды повернуться через левое плечо и, скрутивши кукиш, сунуть козе под нос. А для верности еще плюнуть, желательно промеж рогов.

Иначе быть беде!

Выскочит из козьего уха дух-перевертыш, да и вселится в ребятенка.

— Глупости какие вы гово-г-ите, — прелестно картавя, сказала княгиня. И поднесла к глазам надушенный платочек. — Гебенюк пгосто в деда пошел.

Она вздохнула и, кинув взгляд на молчаливого супруга, лишилась чувств. Так, на всякий случай. Впрочем, пассаж этот остался незамеченным: к обморокам драгоценной Ангелины Тадеуш, князь Вевельский, привык. В данный момент его больше занимала не супруга, но новорожденный сын. Он рассматривал наследника в лорнет, то поднося его к младенческой макушке, кучерявой и вызывающе черной, то прижимая к глазам. Младенец лежал тихо, не сводя с отца пристального, чересчур уж внимательного взгляда, каковой новорожденным вовсе был несвойственен. Хотя, признаться, познания Тадеуша Вевельского в новорожденных ограничивались исключительно теорией, но ведь разумному человеку и теории довольно для правильных выводов.

Знать бы еще, каковы были выводы.

— Ах, — вздохнула, возвращаясь в чувство, княгиня и томным отрететированным жестом прижала руку ко лбу.

Она была красива: светловолоса и синеглаза; и ни болезненная бледность, ни испарина, выступившая на высоком челе княгини, не портили этой красоты. Глубокие тени, залегшие под глазами, и те придавали взору глубину и отрешенность.

— Покажите его... — шепотом попросила она, и кормилица поспешила исполнить просьбу.

— В деда, опгеделенно, в деда... тот тоже был... бгюнетом. — Княгиня откинулась на подушки.

Нет, допустим, князь Вевельский смутно припоминал, что дед его драгоценной супруги и вправду был черноволос, но горба, не говоря уже о хвосте, он точно не имел. Тадеуш закрыл

глаза, надеясь, что упомянутая часть тела исчезнет. И открыл.

Не исчезла.

Младенец же смотрел по-прежнему строго, не моргая. И губенки поджал, точно не одобрял этакой родительской нерешимости. Из кружевных пеленок, в кои обрядили долгожданного наследника рода князей Вевельских, помимо лысенького хвоста и кучерявой головки выглядывали розовые младенческие пятки. И кулачки, сжатые крепко, словно ребенок вознамерился до последнего отстаивать свое право на хвост.

— Коза энто, — с уверенностью повторила кормилица, женщина простая, деревенская, взятая в дом по рекомендации. Она была дородна, белолица и имела дурную привычку щипать щеки, искренне полагая, будто бы румянец наилучшим образом свидетельствует об исключительном ее здоровье и молочности. — Хельмово отродье! А хвост... да того хвоста — топором разок тюкнуть.

Хвост она легонько сжала пухлыми пальцами, точно примеряясь. И младенец вздохнул, закрыл глаза и закричал.

— От же ж даликатны, — восхитилась кормилица и для важности добавила: — Як пански цуцик...

Женщина взяла юного княжича на руки и, вытащив белую, какую-то румяную с виду грудь, сунула ее в раззявленный рот.

— С рогами Маша, — глубокомысленно произнесла она, проведя по пуховым волосикам, — а все одно наша...

Младенца нарекли Себастьяном в честь того самого аглицкого деда, которого весьма кстати вспомнила панна Ангелина. Первый месяц его жизни ознаменовался чередой супружеских скандалов, кои, впрочем, сошли на нет после того, как приглашенный ведьмак раз и навсегда опроверг подозрения вдовствующей княгини, чем немало ее опечалил.

— Все одно, виновата она. — Катарина Вевельская вооружилась веером, нюхательными солями и чувством оскорбленного достоинства, которое требовало немедля удалиться из негостеприимного дома, где родной сын отвернулся от матери за-ради какой-то аглицкой девицы сомнительных добродетелей. Всякому известно, что воистину добродетельные девицы хвостатых младенцев не рожают.

...о приданом оной девицы, немало и более чем своевременном, она предпочла забыть.

— Ах, матушка, вам бы все виноватых искать. — Тадеуш Вевельский тешил себя надеждой, что обе женщины, с мнением которых он вынужден был считаться, когда-нибудь да найдут общий язык.

И заодно подскажут, как быть с наследником.

Мелькала трусливая мыслишка, что было бы весьма удобно, подтверди ведьмак матушкины опасения. Окажись Себастьян не родным сыном князя, тот получил бы развод или хотя бы возможность отказать ребенку в имени...

...а приданое оставить.

— Гебенок выгастет. — Ангелина Вевельская в волнении картавила более обычного и, откинувшись в кресле, утопая в розовых атласных подушках, коими ее обложили для пущего комфорта, мяла платочек. Пропитанная маслом мяты и лемонграсса, ткань источала резкий аромат, который заставлял свекровь морщиться и с мученическим видом закатывать очи. — И, быть может, хвост отвалится.

Вины за собой Ангелина Вевельская не видела и на мужа обижалась всерьез. Лишь

исключительное воспитание, полученное в пансионе, удерживало ее от банальнейшей истерики с битьем посуды. И начала бы она с того преотвратительного фарфорового сервиза на двенадцать персон, преподнесенного к свадьбе дражайшей свекровью. Сервиз был покрыт толстым слоем позолоты и самим своим видом, вызывающей роскошью, уродством отравлял Ангелине жизнь.

— А если не отвалится, — свекровь впервые соизволила одарить невестку почти одобрительным взглядом, — его можно будет отрезать. В конце концов, зачем человеку хвост?

Отрезать хвост не вышло.

Семейный доктор, к которому Тадеуш Вевельский обратился со столь деликатной просьбой, долго оглаживал бородку, щупал хвост, несмотря на явное неудовольствие юного Себастьяна, а потом со вздохом признал, что отрезать-то, конечно, можно, но за последствия он не ручается.

— Следует признать, что сей рудимент отменнейшим образом иннервирован. — Доктор нежно провел по мягкому темному пушку, покрывавшему не только хвост, но и всего младенца. Пушок пробился на третий месяц жизни и покрыл смуглую, желтоватую, точно подкопченную кожу Себастьяна ровным слоем. — Резекция его вызовет сильнейший шок у пациента...

Пациент заорал.

Голосом он обладал громким; и Тадеуш скривился; нянька же привычно сунула руку за пазуху, нащупывая грудь, но была остановлена князем.

Доктор же, отпустив хвост, который тотчас обвил ножку младенца, продолжил:

— А шок, весьма вероятно, вызовет *exitus letalis*^[1].

Милейший Бонифаций Сигизмундович поправил пенсне, которое носил не из-за слабости зрения, но в силу собственной убежденности в том, что она слабая в глазах великоможных пациентов напрямую связана с ученостью. И хоть бы во всем княжестве не нашлось человека, который посмел бы вслух усомниться в учености Бонифация Сигизмундовича, он по-детски продолжал стесняться отменного, как и у всех поколений докторов Пшеславских, зрения. И, скрывая стеснение, робость, вовсе не свойственные его давным-давно почившему батюшке, речь вел медленно, густо пересыпая умными словами, а то и вовсе латинскими фразами.

— ...или приведет к существенной задержке психического развития, — завершил Бонифаций Сигизмундович и добавил веско: — Хвост чрезвычайно важен для формирования *modus operandi*^[2].

Он выставил пухлый указательный палец, подчеркивая важность последних слов. И произнес:

— *Casus extraordinarius!*^[3]

Признаться, пристрастие любезнейшего доктора к латыни ввергало князя Вевельского в тоску, напоминая о собственном образовании, каковое ему, несомненно, было дадено — да и, помилуйте, разве возможно князю необразованным быть? — однако дадено как-то поверху, куце. Отчасти виной тому был непоседливый норов княжича, с которым не способны были совладать ни уговоры, ни нотации, ни даже розги — а до них дело доходило частенько; отчасти — малые способности и отсутствие интереса к наукам. Как бы там ни было, но в голове, украшенной пятизубым венцом князей Вевельских, не задержались ни латынь, ни греческий, ни даже вновь вошедший в моду гишпанский. Впрочем, врожденный

шляхетский гонор не позволил Тадеушу и ныне признаться в собственной слабости, понуждая к притворству. Князь провел ладонью по светлым волосам и, чуть склонив голову, ответил:

— Amen.

Он понял одно: хвост резать нельзя. И надежды на то, что отвалится, нет никакой.

— Не беспокойтесь. — Бонифаций Сигизмундович искренне переживал за своих пациентов и, сделав ребенку «козу», обратился к князю: — С горбиком мы поработаем, выправим осанку. А что до хвоста, то вспомните, пан Тадеуш, *historia est magistra vitae*^[4]. В хрониках описан минимум один подобный случай. К слову, с вашим же предком, Мстивойтом Ярославовичем. Ему хвост нисколько не помешал занять Гжуславский престол.

Пример оказался удачен. Король Мстивойт, пусть и правил всего-то два года, в представлении Тадеуша Вевельского был человеком исключительных достоинств, каковые теперь просто-таки обязаны были проявиться в Себастьяне. И княжье семейство, затаив дыхание, принялось ждать от младенца великих свершений. Младенец орал, гадил и из всего семейства выделял лишь толстую кормилицу, да и ее, верно, почитал бесплатным приложением к груди; а ел он подолгу и с немалым аппетитом.

— Пгосто гебенку нужно вгемя, — убеждала себя и свекровь Ангелина Вевельская и с тайной надеждой поглаживала вновь округлившийся живот. Она искренне уповала, что нынешняя ее беременность разрешится благополучно и на всякий случай десятой дорогой обходила всех коз, независимо от их масти. А заодно уж воздерживалась и от козьего молока, и от сыра, каковой ей навязывала вдовствующая княгиня, вестимо, тем самым намекая на неудачного первенца...

— Вгемя и только вгемя. И все будет пгекгасно! — Ангелина сахарно улыбалась и гладила Себастьяна по черным вихрам; тот же хмурился и, стиснув в ручонках хвост — в последний месяц тот покрылся мелкой слюдяной чешуей, — взирал на матушку исподлобья. Заговаривать он не спешил, равно как и вставать на ноги, предпочитая передвигаться исключительно на четвереньках.

Рождение второго сына, светловолосого и синеглазого, лучезарного, как солнце на родовом щите князей Вевельских, примирило родителей с уродством старшего. И даже известие о том, что, невзирая на все усилия Бонифация Сигизмундовича, Себастьянов горб пошел в рост, было воспринято с должной долей смирения. Взяв на руки дитя, нареченное в честь деда уже по отцовской линии Лихославом, Тадеуш крепко призадумался и, с молчаливого согласия супруги, премного довольной что собой, что новорожденным, который выглядел именно так, как полагалось новорожденному, — розовым, глазастым и очаровательным, созвал врачебный консилиум. Итогом его стала некая бумага, которая признавала Себастьяна Тадеушевича, княжича Вевельского, негодным наследником по причине несомненного физического уродства, каковое засвидетельствовали пятеро докторов.

Бонифаций Сигизмундович был категорически не согласен, однако в кои-то веки с мнением его не посчитались. И Себастьян, урожденный и отныне ненаследный князь Вевельский, был вместе с нянькой отослан в деревню, где и провел последующие пятнадцать лет жизни.

Следует сказать, что родители, испытывая все же немалые угрызения совести, отчасти из-за совершенной по отношению к первенцу несправедливости, отчасти из-за собственной нелюбви, всячески пытались жизнь его скрасить. В поместье отправлялись учителя, ибо

было писано, что ребенок испытывает немалую к учению тягу. Да и Тадеуш Вевельский, памятуя о собственном тайном позоре, строго-настрого велел розог не жалеть, но дать ребенку блестящее образование, не особо задумываясь, зачем оно в деревне.

Пушай будет. На всякий случай.

В итоге к десяти годам Себастьян весьма прилично читал и говорил по-латыни, знал еще четыре иностранных языка, включая греческий и родной матушкин аглицкий, что привело княгиню в немалое душевное волнение. Она слушала сына и смахивала слезы, повторяя:

— Пгелестно! Газве это не пгелестно?

Он обладал немалыми познаниями в географии, астрономии, ботанике и истории, каковая наука давалась ему нелегко, но врожденное упрямство князей Вевельских, а также завет отца и розги не позволяли Себастьяну отступить. Сам он не мог бы с должной уверенностью сказать, нравится ли ему учеба. Она вносила в размеренное и унылое его существование некоторое приятное разнообразие. Он с удовольствием слушал о звездах и землях, расположенных за границами поместья и Вевелевкой, деревенькой, испокон веков принадлежавшей князьему роду. В иных местах Себастьяну бывать не доводилось, да и в Вевелевку он, признаться, сбежал сам, дабы убедиться, что за забором не край мира, но его продолжение. За побег был порот, что, впрочем, нисколько Себастьяна не огорчило.

Он, пусть и несколько замкнутый, остро чувствующий свою чуждость миру, обладал живым умом. И, взрослея, все четче осознавал, сколь сильно отличается от прочих людей. Положение его, несоразмерно более высокое, нежели учителей или дворни, не избавляло Себастьяна от тщательно скрывааемых презрения и брезгливости. Он чуял их таким гниловатым душком, который не способна была перебить кельнская вода. Рядом с родителями не становилось легче. И визиты их регулярные, на Вотанов день и именины, говоря по правде, тяготили Себастьяна необходимостью соответствовать неким иррациональным понятиям о приличиях. Оные сопряжены были с неудобной одеждой, скроенной по особым лекалам в жалкой попытке скрыть уродливый горб, с долгими и пространными речами, обязательными слезами княгини и резкими запахами ароматных масел, каковые носила за хозяйкой горничная. С брезгливостью во взглядах этой самой горничной, отцовского камердинера и прочих слуг, которым Себастьян старался не попадаться на глаза. Родные же братья — а их насчитывалось уже трое — досаждали чрезмерным вниманием.

— Мальчики иг-гают. — Княгиня по-прежнему картавила и придерживала рукой вновь округлый живот. Ей, отчаянно уставшей и от очередной беременности, от которой не спасли «тайные капли», и от родов, хотелось покоя.

И блистать.

Князь же, чувствуя перед женой вину — она, пусть и казавшаяся глуповатой, явно догадывалась о той рыжей актриске, которой Тадеуш Вевельский покровительствовал, естественно, не без собственной выгоды, — спешил соглашаться.

Играют.

И что за дело, если игры эти порой жестоки? Мальчишки же... воины... впрочем, Себастьян весьма быстро научился или избегать опасных встреч с братьями, или давать отпор. И если по первости ему частенько случалось быть битым, то с каждым новым визитом родни Себастьян креп, учился и годам к пятнадцати весьма ловко уже орудовал что шпагой, что простой палкой.

Однажды под руку ненаследного князя подвернулся дрын, и до того служивший веским аргументом в спорах с вевельскими дикими мальчишками, глухими к мирному латинскому слову, а вот дрын уважавшими крепко. Искусство фехтования дрынком произвело на братьев воистину неизгладимое впечатление, и Лихослав, прижимая локоть к разбитому носу, бросил уважительное:

— Придурок.

— От придурка слышу. — Себастьян дрын прислонил к забору и, сорвав лист подорожника, смачно плюнул на него. — На от. Возьми. Кровь остановит.

С той поры началась не то чтобы дружба, скорее уж младшие братья прониклись уважением к старшему, раздражавшему их не столько своим уродством, сколько излишней ученостью, каковую, к его чести, он не пытался выпячивать. Совместная охота на раков, которые в великом множестве водились в местной речушке и на хвост ловились куда охотней, чем на тухлое мясо, поспособствовала закреплению перемирия.

А тремя годами позже произошло событие, оставшееся для всего мира незамеченным, но во многом изменившее самого Себастьяна.

Он влюбился.

Яростно. Безоглядно. И навсегда, конечно, навсегда. Как еще влюбляться в шестнадцать-то лет? И объект его страсти, смешливая панночка Малгожата Беняконь, казался Себастьяну живым воплощением всех мыслимых и немыслимых достоинств.

Рыжеволосая и конопатая Малгожата прибыла в поместье с молчаливого попустительства княгини, решившей, что старший из шести ее отпрысков уже достиг того счастливого возраста, который именуется брачным, а следовательно, невзирая на уродство, представляет немалый интерес для незамужних девиц, точнее их родителей. Все ж таки Себастьян пусть и ненаследный, но князь.

Вевельский.

С правом изображать на родовом щите солнце и корону, носить венец о пяти зубцах и сидеть в королевском присутствии.

Естественно, как и многие иные матери, Ангелина Вевельская желала сыну исключительно добра, а потому к выбору вероятной невесты подошла со всем возможным тщанием. И пусть бы род Беняконь был не столь древен, равно как и небогат, но славился на редкость плодовитыми женщинами. Именно это обстоятельство и помогло Малгожате снискать симпатию княгини.

С Себастьяном же было вовсе просто. Капля внимания, которое показалось вполне искренним, и три грана приворотного зелья заставили юное сердце вспыхнуть.

Он потерял покой и сон. Стоило смежить веки, как перед внутренним взором вставали рыжие кудри Малгожаты, карие ее очи, кои он почитал колдовскими, и внушительных размеров бюст. Внимание к этой совершенно неромантической части тела Себастьяна смущало. И он, уже во сне, безуспешно пытался отвести взгляд, однако вновь и вновь проигрывал битву с самим собой. Бюст лез из декольте, точно опара из ставшего тесным тазика. Он волнительно вздымался при дыхании Малгожаты, а когда она вздыхала — а вздыхала она часто, тем самым выдавая тонкость душевной организации — и вовсе колыбался, отчего юное сердце ухало куда-то вниз. Должно быть, в желудок.

Просыпался Себастьян обессиленным.

Ко всему, случались по утрам иные казусы, заставлявшие его как никогда остро

осознавать несовершенство собственного тела. Происходящее с ним представлялось чем-то уникальным: то ужасным, то, напротив, великолепным...

Быть может, все и закончилось бы предложением и пышной свадьбой, к вящему удовольствию княгини, которая задержалась в поместье, дабы отдохнуть, а заодно присмотреть за сыном, когда б не случайность.

Себастьян, снедаемый любовью, повадился писать стихи. И в глубине души подозревая, что поэтическим талантом природа его обделила, пагубной страсти предавался в саду, забываясь в самые его глубины. Отчего-то музам нравился малинник.

В тот день Себастьян, вооружившись пером, чернильницей и разлинованной тетрадью, отчаянно бился над второй строкой. Первая, как и прочие первые строки, далась легко.

— Сраженный я стрелой Амура, — продекламировал он шепотом.

В голове было пусто.

Сердце привычно екало и замирало, перед внутренним взором стояли немалые достоинства Малгожаты Беняконь, а запах переспелой малины кружил голову. И, сунув кончик пера в ноздрю, Себастьян произнес:

— Сижу в кустах...

Чистая правда, но не рифмовалась. Да и то, помилуйте, где Амур, а где кусты... пусть и малина в этом году чудо как хороша: крупная, пурпурная, и каждая ягода — с ноготь величиной.

— В очах Малгожаты милой зрю Амур, — отмахнувшись от пяденицы, Себастьян попытался зайти с иной стороны. Но проклятый Амур и здесь скрутил кукиш, тот самый, который княгиня козе задолжала.

Не стихотворилось сегодня.

На месте ненаследного князя удержало исключительно природное упрямство, да еще страх вновь встретиться нос к носу с Малгожатой — а встречи подобные происходили куда как часто, и обстоятельство сие заставляло усомниться в том, что и вправду виной им исключительно случай. Впрочем, Себастьян не имел бы ничего против, ежели б каждый раз не терялся. Его вдруг сковывала проклятая немота; он начинал заикаться, краснел и, не в силах превозмочь слабость, поспешно ретировался.

В кусты.

В кустах страдать было легче.

И исстрадавшись, а может, просто притомившись на солнцепеке, ненаследный князь впал в дрему, из которой его вывел знакомый нежный голос:

— Ах, матушка, помилуйте! Я делала все, что вы говорили мне, но... я больше не могу так! Я его ненавижу!

Сердце замерло.

В этом голосе звучала обида, а любой, посмеявшийся обидеть драгоценную Малгожату, представлялся Себастьяну существом, недостойным жизни. И подавив первый порыв выбраться из малинника — все ж таки неудобственно подслушивать, да и место для князя не самое подходящее, — Себастьян затаился.

Для чего?

А чтобы узнать имя злодея и вызвать его на дуэль. И там, пронзив черное сердце шпагой — а шпагой, по уверению учителя-гишпанца, Себастьян владел отменно, а потому в успехе своем не сомневался, — над телом поверженного врага объясниться, наконец, с возлюбленной.

Желательно стихами.

Сей самозародившийся план представлялся Себастьяну невероятно романтичным; и мысленно он уже вел очарованную его несказанной отвагой и благородством Малгожату к венцу. Но мечты разрушил суровый голос пани Беняконь:

— Успокойся, Малгожата! Это хороший вариант...

— Хороший? — перебила матушку Малгожата. — Да он же урод, каких поискать!

— Зато князь!

— Ненаследный, — вредно уточнила Малгожата. — И мне не с титулом жить!

Представь, если дети в него пойдут, мало что горбатые, кривые, так еще и с хвостами.

В первое мгновение Себастьяну показалось, что он ослышался.

Во второе, что свет померк.

В третье родились стихи... и он, сам не владея собой, выбрался из малинника, встал перед возлюбленной, чьи злые слова пронзили сердце насквозь — именно так, а не иначе, ведь если не насквозь, то Себастьян, может статься, выживет. Он же желал умереть, сторев в пламени страсти прямо тут, на посыпанной речным песком дорожке, сквозь которую проросли одуванчики.

— Сраженный я стрелой Амура, — продекламировал он, глядя в испуганные глаза Малгожаты, — не замечал, что девка — дура...

И, развернувшись, гордым чеканным шагом направился к дому, там, запершись в своей комнате, ключи от которой имелись единственно у нянюшки, Себастьян пал на кровать и смежил веки, готовясь умереть от любви.

Не вышло.

Тем же вечером панна Беняконь с дочерью покинули поместье, а княгиня вздохнула и вычеркнула из составленного списка невест имя Малгожаты.

Себастьян же слег. Ему казалось, он умирает от разбитого сердца, осколки которого гремят в груди, но вызванный в спешном порядке Бонифаций Сигизмундович диагностировал банальнейшую простуду, каковую попытался излечить касторовым маслом. Однако же лекарство, привычное, пусть и от души ненавидимое ненаследным князем, не помогло.

— Я умру, — сказал Себастьян, смежив веки. Ему казалось, что именно так и должно быть: смерть от любви в юном возрасте, и романтичная и страшная. И, быть может, жестокосердная Малгожата, образ которой не покидал князя, несмотря на всю его обиду, прозреет. В приступе раскаяния она вернется в поместье и будет громко, безутешно рыдать над гробом, заламывая пухлые руки...

— Непременно умрете, голубчик, — поспешил успокоить пациента Бонифаций Сигизмундович. — Все когда-нибудь да помирают... но не в этот раз. *Omnia tempus habent*^[5].

Себастьян хмурился, поджимал губы и вытягивал руки поверх одеяла, прикидывая, хорошо ли будет смотреться в гробу. Несколько беспокоило то, что горб не позволит ему лежать прямо, а скособоченный покойник — это уже комедия-с.

И Себастьян ерзал.

От ерзания ли, от злости, что даже умереть ему не позволено с должной долей трагизма, лихорадка усугублялась, а треклятый горб невыносимо зудел. Кожа на нем покраснела, сделалась рыхлой, а после и вовсе лопнула, явив миру куцые, влажно поблескивавшие нетопыринные крыла.

— Догой, — с мягким укором обратилась к несчастному отпрыску княгиня, — девочка погочилась, а ты слишком остро на все реагируешь.

В волнении ее картавость стала особенно заметна.

— Я прекрасно понимаю, что в твоём возрасте склонность к эпатажу вполне естественна. Но согласишься, что крылья — это несколько чуждо.

Себастьян отвернулся к стене.

— Не гагавайся, догой. — Ангелина Вевельская осторожно погладила перепонку. На ощупь крылья были плотными, горячими и сухими. Сквозь тонкую кожу виднелись и сосуды, и хрустальные косточки, которые прорывались такими слюдяными коготками, весьма острыми с виду. — Мы что-нибудь придумаем.

Крыло дернулось, едва не оцарапав княгиню, и, убрав руки, она не слишком-то уверенным голосом сказала:

— Быть может, они ещё отвалятся?

Робким надеждам её не суждено было сбыться. Крылья, как и хвост, отваливаться не спешили. Более того, освободившись из кокона, коим и являлся горб — Бонифаций Сигизмундович с преогромным удовольствием описал сей анатомический *casus extraordinarius* в своём дневнике, — крылья росли. Они вытягивались, обретали плотность, а тело ненаследного князя покрылось четырехгранной чешуей.

— Только голов не хватает, — со вздохом сказала княгиня и очень осторожно, словно опасаясь наткнуться на упомянутые рога, погладила отпрыска по голове. — С гогами был бы завершенный обгаз.

И, спеша исполнить пожелание Ангелины, рога появились.

А потом исчезли.

Чешуя же сменила колер и форму, сделавшись плотнее, жестче. Но спустя сутки сгнула и она, явив обыкновенную, разве что по-прежнему смугловатую, цветом в копченую воблу, кожу.

Княгиня, приободрившись, ждала продолжения метаморфоз. Мысленно она уже избавила отпрыска от крыльев и хвоста. От последнего — не без труда, поскольку за многие годы Ангелина Вевельская успела свыкнуться с данной особенностью сына.

Хвост остался.

Крылья, впрочем, тоже, разве что вытянулись, загубели и покрылись короткой шерсткой, каковая на ощупь напоминала бархат.

К радости Себастьяна, пребывавшего в стабильно мрачном настроении, причин для которого, положив руку на сердце, имелось предостаточно, крылья были черны. И очень удобны, когда требовалось скрыться от жестокого мира, в чем ненаследный князь Вевельский испытывал острейшую необходимость. Оттого и заворачивался он в живую ткань собственных крыльев, замирая таким неподвижным кулем, безмолвным и отрешенным.

Княгиня волновалась.

Бонифаций Сигизмундович перелистывал страницы семейных хроник, пытаясь найти если не объяснение, то хотя бы утешение для великовельможной панны, каковая полюбила вздыхать о тяжелой материнской доле и запивать огорчения рюмочкой вевелевки. Настойка на вишневых косточках, мяте и розмарине, по уверениям местной ворожихи, зело способствовавшая установлению душевного покоя, оказывала на княгиню самое благоприятное воздействие. Ангелина Вевельская ударялась в воспоминания о светлых девичьих годах и надеждах, которым не суждено было сбыться. И воспоминаниями, не имея

иного столь же благодарного слушателя, она щедро делилась с Бонифацием Сигизмундовичем. Он же внимал, кивал в нужных местах и глядел с непонятной тоской... а быть может, мерещилось княгине, и дело было вовсе не во взгляде доктора, а в его очочках с затуманенными стеклами.

Или в вевелевке.

Да и мало ли что может примерещиться женщине на четвертом десятке жизни, когда грудь сжимает неясное томление, а у супруга новая пассия, знать о которой, конечно, Ангелине Вевельской не полагается...

Нет, уж лучше о крыльях думать, хвостах и печальных латинских экзерсисах добрейшего доктора, который вдруг тоже полюбил вечерние прогулки, исключительно в силу их полезности для здоровья... он мало говорил и много слушал, очаровательно смущаясь, когда княгиня становилась чересчур уж откровенна. Сам же, когда панна Ангелина замолкала, погружаясь в пучину воспоминаний, он заговаривал о медицине, которой был отдан всецело, о новейших ее достижениях, а также о семейных архивах, скрывавших немало тайн.

И тайны, во многом устаревшие, еще более сближали этих двоих одиноких, в сущности, людей.

— Ах, княгиня, — восклицал Бонифаций Сигизмундович в избытке чувств — он и сам не ожидал от себя подобной пылкости, — прижимая к слезящимся глазам платочек. — *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis*^[6]. Но сколь же отраднo встретить женщину столь умную, столь тонко чувствующую...

Княгиня розовела. Трепетали ресницы. Щемило сердце.

И душа рвалась в неизведанные выси. О нет, панна Ангелина вовсе не помышляла о супружеской измене, хотя бы и было сие справедливо, но лишь желала вновь ощутить себя любимой.

Удивительно ли, что при сих обстоятельствах Бонифаций Сигизмундович, да и сама княгиня Вевельская, не торопились покинуть поместье? И здоровье Себастьяна, каковой был, несомненно, более чем здоров — сердечные раны не в счет, — послужило хорошим предлогом для обоих.

Впрочем, к чести добрейшего доктора, он не забывал и о деле.

И однажды усилия его увенчались успехом.

— Панна Ангелина... — Бонифаций Сигизмундович в сей вечер явился ранее обычного, застав княгиню за приготовлениями к вечернему променаду. И перехватив рюмку с вевелевкой — которую добрейший доктор уже успел распробовать и даже счел с медицинской точки зрения безвредной, — опрокинул ее. — Я имею сказать вам поразительную новость!

Он был преисполнен энтузиазма. Избыток его выступал крупной испариной на обрюзгших щеках, переносице и лбу, кой доктор втайне подбривал, поскольку полагал высокий лоб столь же неотъемлемым признаком учености, как и очки.

Княгиня отложила пуховку и бросила взгляд в зеркало, убеждаясь, что выглядит весьма достойно. Ей никто бы не дал ее — страшно подумать! — тридцати шести лет. Двадцать... ну двадцать пять при хорошем освещении... и морщинки в уголках глаз пока еще не столь заметны. И шея нежная, белая, без второго подбородка... и вообще она хороша...

— Идемте, дорогая, идемте. — В волнении Бонифаций Сигизмундович забылся настолько, что взял княгиню за руку. И прикосновение теплой его руки, пальцев тонких, но удивительно сильных, заставило сердце забиться в новом ритме. И Ангелина Вевельская,

пожалуй, впервые пожалела о титуле и некотором внушенном наставницами избытке добродетельности.

Она позволила себя увлечь.

— Мы имеем дело с уникальнейшим явлением! — В комнату Себастьяна, где юный ненаследный князь самозабвенно предавался печали, доктор вошел без стука. — Я признаю, что ошибался! Все мы катастрофически ошибались! Ваш сын — редкость!

— Гедкость, — согласилась княгиня, добавив задумчиво: — Еще какая гедкость...

— Подобный случай описан у Вергилия! И Платон упоминает о существах, способных по собственному желанию изменять свой облик!

Себастьян отвернулся к стене.

Он не желал видеть ни матушку, ни доктора, явно неспособных понять всей глубины душевных терзаний... не хватало, чтобы лечить их взяли тем же изрядно опостылевшим касторовым маслом, которое Бонифаций Сигизмундович полагал едва ли не универсальным средством ото всех болезней.

— Но главное: Матеуш Сивельский! О, мне сразу следовало взяться за воспоминания этого чудесного человека!

Доктор потирал руки.

— Он довольно подробно описывает свою встречу с *homo sapiens metamorphus*, какового ему случилось встретить в Краковеле... — И Бонифаций Сигизмундович вытащил из кармана потрепанную книжицу. — Вот послушайте: «Метаморфичность суть явление, каковое встречается чрезвычайно редко. Я не склонен почитать его, аки иные исследователи, разновидностью оборотничества, поелику метаморф изменяет форму дарованного Вотаном тела, однако не снисходя до всецело животной ипостаси».

Он выдохнул и надушенным платочком смахнул с высокого лба испарину.

— Далее тут медицинские термины, — тихо сказал доктор, словно извиняясь за далекого предка, не сумевшего описать чудесное явление языком простым, понятным для далеких от медицины людей. — Однако же вот... «из беседы мне удалось выяснить, что способность к метаморфозам — явление врожденное. И Вотан же, либо Хельм, как почитают некоторые далекие от науки умы, отмечает сию способность наличием у младенца некоего животного признака»...

...княгиня посмотрела на хвост.

И Себастьян поспешно спрятал его под одеяло.

— «Сия примета верна. Но признак же этот, к примеру, моего собеседника природа одарила рогами...»

Себастьян пощупал макушку, со вздохом признав, что таки рога пробиваются.

— «...никоим образом не вредит. И детство и отрочество метаморфов протекают спокойно, что вновь же отличает их от истинных оборотней, и в колыбели подверженных зову луны».

Доктор шумно выдохнул и, перевернув страницу, продолжил:

— «Переход же в возраст юношеский сопровождается сильными душевными переживаниями, на которые плоть отзывается переменами».

Себастьян был вынужден согласиться, что переживания в наличии имеются, перемены плоти — также.

— «Мой собеседник с немалым стеснением признался, что в минуты сильнейших волнений он отращивал хвост наподобие коровьего, а также жабры и чешую. В дальнейшем,

естественно, он научился управлять этой своей способностью. И на глазах моих продемонстрировал невероятную гибкость тела, отрастив перепонки меж пальцами...»

— Значит, — тоненьким голоском поинтересовалась княгиня, ущипнув отпрыска за крыло, — от этого можно избавиться?

— Вероятнее всего, драгоценная моя... вероятнее всего...

Доктор помусолил страницы.

— *Nota bene!* Сам Матеуш не единожды подчеркивает, что у метаморфических существ физическое их обличье всецело зависит от *psyho*... душевного состояния, — пояснил он княгине, которая пребывала в величайшей задумчивости.

— И что нам сделать? — деловито поинтересовалась панна Ангелина, погладив отпрыска по бархатному крылу.

— Нам — ничего. — Доктор упрятал книжицу во внутренний карман пиджака. — Видите ли, все сводится к классическому... *posce te ipsum*^[7].

Познавать себя Себастьян отправился на крышу. Первым делом он попытался пробудить в своей душе жажду полета, ибо луна была полной, круглой, что наливное яблочко, а размах крыльев — приличным. Во всяком случае, с виду. Но после нескольких неудачных попыток, последняя из которых закончилась двойным переломом руки, стремление добраться до луны или хотя бы до фигурного флюгерка на старой башне сошло на нет. Перелом сросся быстро, а привычка ночевать на крыше осталась. Да и то сказать, вне дома, в тишине — комарье не способно оказалось пробить плотную чешуйчатую шкуру Себастьяна — ему думалось на редкость ясно.

Большей частью о судьбе мира.

И собственной.

Он, обожженный пламенем первой неудачной любви, ныне мыслил жизнь оконченной. Незаметно, ближе к осени, должно быть вследствие Красной луны, каковая, если верить истинным оборотням, случалась раз в сто лет, вернулась страсть к стихосложению. И Себастьян, представляя себе же фигурой трагичной, заворачивался в крылья, словно в плащ, обнимал хвост и срывающимся голосом читал в ночь свежесочиненное:

Слеза застыла на щеке...

На старом пруду соловьями заливались жабы. Чешуя зудела, то появляясь, то исчезая.

А вдохновение рвалось из груди. Или, если верить любимой нянечке, перо свербело в жопе... но вариант с вдохновением нравился Себастьяну больше.

И сердце замерло в руке.

Зачем, зачем я плачу вновь?

В душе моей струится кровь!

Жабы рокотали, оставаясь равнодушны к высокому штилю, и лишь нетопыри откликались на душевные метания князя тонкими зябкими голосами. Нетопыри в принципе полюбили его, видимо принимая это престранное существо с крыльями за дальнего родича. Они подлетали, садились, цепляясь колючими коготками за кости, повисали такими

черными тряпицами и посвистывали этак, с одобрением. И, вдохновленный вниманием, Себастьян декламировал:

Холодный нож скользит по венам.
И думаю, что, может, зря,
Ведь зарастают в сердце раны.
И, может, кто поймет меня...

Нетопыри пищали, норовя забиться в складки крыльев, там им было теплее. Себастьян не возражал. Собственный образ виделся ему исполненным одновременно и трагизма и романтики. Однако на том процесс самопознания застопорился. И если с чешуей Себастьян кое-как научился управляться, то с крыльями дело обстояло сложнее.

С каждым днем прогулки по крыше становились дольше, а стихи — трагичней.

— Надеюсь, это со временем пойдет, — уверяла княгиня прибывшего с визитом вежливости супруга. Тадеуша Вевельского подобные привычки сына вовсе не обрадовали, равно как и внезапная страсть отпрыска к черной одежде и бутоньеркам с розанами. — Мальчик повзгослеет. Остепенится... ему погосто нечем здесь заняться.

Но о том, чтобы вывезти сына в столицу, она не заговаривала, прекрасно осознавая, какой разразится скандал. Вот если бы Себастьяну все-таки удалось с крыльями поладить...

Подумав, Тадеуш согласился, что новоявленная хандра вовсе не есть следствие приворотного зелья, использованного, к слову, с молчаливого согласия Ангелины Вевельской, или свойство душевной конституции метаморфа, но естественный результат безделья. Сына срочно требовалось если не занять, то хотя бы отвлечь от пустых, с точки зрения князя, переживаний. Вызванный пред отцовские ясные очи, Себастьян расправил крылья, почесал перламутровым когтем шею и низким, рокочущим басом произнес:

К губам ее ни разу не припав
И сердца не прижав к груди...

Он смотрел прямо в глаза князю, и черные ресницы по-девичьи трепетали, а в уголках глаз застыли слезы.

Я образ ейный люто гнал...

Себастьян запнулся, потому как муза, не оценив экспромта, вновь ретировалась, оставив ненаследного князя наедине с Тадеушем Вевельским, а тот был поэзии чужд.

— Дорогой сын, — сказал он, окидывая первенца придирчивым взором. От него не укрылись и некоторая бледность явно искусственного происхождения, и томная мушка над губой, из-под которой выглядывали острые клычки. Верно, из-за них Себастьян слегка шепелявил, отчего волновался, и в волнении крылья подрагивали, а хвост премерзко щелкал о столешницу.

— Дорогой... — севшим голосом повторил батюшка, — сын... мне кажется, что ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать...

Себастьян смотрел сквозь тень ресниц внимательно, можно сказать, душевно. И под этим взглядом князю Вевельскому было крайне неудобно.

— Иногда жизнь...

...Черная атласная рубашка просто неприлично обтягивала широченные плечи Себастьяна. Веером расходился кружевной, накрахмаленный любимой нянюшкой воротник. Алел на груди очередной розанчик. И крылья обвисли, выдавая глубоко меланхолический настрой юного князя.

— ...преподносит нам испытания...

Тадеуш все же сбился с речи и, махнув рукой на нее, заготовленную по настоянию княгини, которую весьма беспокоили затянувшиеся переживания отпрыска, сказал:

— Завтра отправишься в Краковель.

...Конечно, не столица, но город большой, шумный, а главное, славный не только козьими сырами. Князь весьма рассчитывал на некую улицу, поименованную на хранцузский манер Руж-ове, а в народе называемую Ружовой, каковая была известна далеко за пределами Краковеля. В спутники сыну он определил собственного ординарца, человека надежного, пусть и несколько туповатого.

Присмотрит.

А в веселом доме, глядишь, и выветрятся из княжьей головушки хандра со сплином.

...и крылья заодно отвалятся.

На том Тадеуш Вевельский отцовский свой долг счел исполненным и отбыл на воды, где его уже ожидала некая юная, но, вне всяких сомнений, достойная особа, на благосклонность которой князь весьма рассчитывал, благо остатков приданого Ангелины еще хватало на милые сердцу развлечения...

Что до старшего сына, то прописанный в качестве лекарства вояж и вправду круто переменял его жизнь; однако виной тому стали не легкомысленные девицы из Ружового дома, весьма, к слову, приличного и оттого лояльного к маленьким странностям клиентов, но яркие, полные жизни рассказы ординарца, чей брат служил в полиции...

Себастьян, сперва чуравшийся дамского общества, но вскоре нашедший его хоть и приятным, но несколько однообразным, к этим историям прикипел душой. И даже понимание, что сами они суть вольный пересказ полицейских романов, продававшихся по два медня за книжицу, несколько не разочаровало его. Ординарец лгал с душой, и эта душа делала его ложь живой, ароматной.

...Спустя две недели, когда розово-кружевные интерьеры дома набили у юного князя оскомину, оставив, однако, нетронутыми воспоминания о прекрасной, но коварной Малгожате, Себастьян принял первое в своей жизни важное решение.

Разочарованный в любви, он желает служить родине.

И пусть по военной стезе путь для него закрыт, поелику семейную традицию продолжат братья, уже приписанные к более-менее приличным полкам, но ведь есть же непроторенная князьями Вевельскими полицейская тропа.

К несчастью для отца и своего будущего начальства, идею Себастьян воплотил в жизнь немедля и с немалым рвением. Ускользнув от ординарца, обманутого кажущимся спокойствием подопечного и внезапным исчезновением крыльев у одного — событие, о котором ординарец с радостью отписал князю, — Себастьян отыскал ближайшего вербовщика и, представившись по матушке Себастьяном Грэй, аглицким эмигрантом во втором поколении, заключил договор. И ладно бы обыкновенный, заверенный магистратом,

каковой можно было бы расторгнуть без особого труда. Нет, смутно подозревая, что родители скептически отнесутся к новому увлечению дитяти, и желая во что бы то ни стало доказать собственную пригодность как к службе, так и к самостоятельной жизни, ненаследный князь Вевельский потребовал договор-на-крови.

Семилетний.

Вербовщик, несколько пораженный подобным рвением, осторожно уточнил, знает ли пан Грэй, что договоры подобного рода являются нерасторжимыми? А получив ответ утвердительный, пожал плечами — мало ли у кого какая блажь случается? Благо за нынешнюю вербовщику полагалась премия, отчего к престранному юноше с взором горящим он проникся вполне искренней симпатией.

Хочется служить отечеству?

Пускай себе.

Главное, чтоб годным признали.

Как ни странно, эта же мысль беспокоила и Себастьяна. Впрочем, к когтям, равно как и хвосту, убрать который у Себастьяна не получалось при всем старании, полковой доктор отнесся с поразительным равнодушием.

— Годен, — буркнул он. И, дыхнув на печать ядреным сивушным перегаром, шлепнул на серый лист.

Полковой ведьмак, глянувший на хвост искося, лишь поинтересовался:

— Оборотень?

— Метаморф.

— В казармах на луну не выть, в казенной одежде не обращаться. — Ведьмак извлек из-под полы серебряное перо. — Попортишь — из жалованья вычтут...

За сим освидетельствование, бывшее скорее ритуалом, нежели вящей необходимостью, было завершено. И Себастьяну на побуревшем латунном блюде подали договор и булавку, которую вербовщик протер почти чистым носовым платком. Им же отмахнулся от крупной осы, что кружилась над лысиной.

— Ну... это, с Вотаном, паря... — Вербовщик скосил глаза на портрет государя, несколько засиженный мухами. Очи его величества гневно сверкнули, и вербовщик, кое-как втянув живот, рявкнул: — И во благо Отечества!

— Во благо, — эхом отозвался доктор, поднимая мутную склянку.

И с преогромным наслаждением, даже не поморщившись, Себастьян воткнул в мизинец булавку. Капля крови скатилась на темный пергамент, впиталась в узор, активируя заклятие.

— Поздравляю, — сказал вербовщик, не без труда подавив зевоту, — вы зачислены в рекруты...

...Он говорил еще что-то, нудно втолковывая о правах и обязанностях, Себастьян же сунул палец в рот — мизинец, не осознавая торжественности момента, ныл и отращивал коготь, демонстрировать который было как-то неудобно...

С этого и началась новая жизнь ненаследного князя Вевельского...

Глава 2, где речь идет о женской злопамятности, девичьих мечтах и унитазах

В жизненных реалиях Иваны-дураки встречаются куда чаще, нежели Василисы Премудрые.

Вывод, сделанный Евдокией Ясноокой, девицей купеческого сословия, на основании собственных наблюдений

Шестнадцать лет спустя

— Дуська! У него новая любовница! — Вопль единоутробной сестрицы выдернул Евдокию из сна, в котором она, Евдокия Парфеновна Ясноокая, девица двадцати семи с половиною лет, едва не вышла замуж.

Открыв глаза и увидев знакомый потолок с трещиной, которую заделывали каждый год, а она все одно выползала, Евдокия выдохнула с немалым облегчением.

Приснится же такое! Замуж ей не хотелось. Вот совершенно никак не хотелось.

А спать — так напротив.

— Дуська, ну сколько можно дрыхнуть! — Алантриэль упала на перину. — Подвинься.

— Чего опять?

Евдокия с трудом подавила зевок.

...И в кого она пошла такая, свиною натурой? Известно в кого, в батюшку покойного, которого она помнить не помнила, но знала благодаря тому, что сохранилась свадебная дагерротипическая карточка, еще черно-белая, но весьма выразительная. И глядя на нее, Евдокия со вздохом обнаруживала в себе именно батюшкины черты. Парфен Бенедиктович, купец первой гильдии, был носат, невысок и обилен телом. Рядом с ним даже матушка, уж на что внушительной уродилась, выглядела тонкой, изящной. И свадебное платье из белой грани^[8], купленной по сорок сребней за аршин — немислимые траты, каковых любезная Модеста боле себе не позволяла, — придавало ее обличью неизъяснимую хрупкость.

Хрупкость эта, пусть существовавшая исключительно на снимке, всецело отошла Аленке, на долю же Евдокии достались матушкина выносливость, упрямство и не по-женски цепкий ум.

Вот и куда ей замуж?

Спаси и сохрани, Иржена-заступница.

— Чего опять? — Евдокия все ж таки зевнула.

Рань ранняя... небось только кухарка и встала. И Аленка с ее влюбленностью, чтоб ей к Хельму провалиться, не Аленке, конечно, все ж таки сестра, хотя порой злости на нее не хватает, а влюбленности. Правда, другое дело, что Хельму хвостатому она влюбленность вовсе ни к чему, но...

Поутру мысли были путаными, что собственная коса.

— У него новая любовница! А вдруг он на ней женится! — с надрывом произнесла Аленка.

— Кто и на ком?

Евдокия почесалась.

Спина зудела.

И бок... и неужели в перине клопы завелись? Вроде ж проветривали — Модеста Архиповна не терпела в доме беспорядку — и регулярно в чистку отправляли... а оно чешется... или не на клопов, а на Аленкину любовь реакция?

— Он! — Аленка воздела очи к потолку.

Понятно.

Он, который тот самый, чье имя Аленка стеснялась произносить вслух, существовал в единственном и неповторимом экземпляре.

— Не женится, — уверенно сказала Евдокия, давась очередным зевком.

— Думаешь?

— Знаю.

— Откуда? — Аленка и в простой батистовой рубашке умудрялась выглядеть прелестно. Рядом с сестрицей Евдокия казалась себе еще более неуклюжей, тяжеловесной, нежели обычно. Хотя и не злилась на Аленку; она ж не виновата, что красавицей уродилась...

— Оттуда. Если на предыдущих не женился, то и на новой тоже... и вообще, выкинула бы ты из головы эту дурь.

Бесполезно просить.

Любовь — это не дурь, это очень даже серьезно в неполные семнадцать лет, а если Евдокия не знает, то это от врожденной черствости...

...в том-то и дело, что знает: и про семнадцать лет, и про любовь, которая непременно одна и на всю жизнь, и про то, что случается, если этой самой любви поддаться.

Евдокия вздохнула и глаза закрыла.

Не уйдет же.

Сестрица, как и все жаворонки, пребывала в том счастливом заблуждении, что и прочие люди, вне зависимости от того, сколь поздно они ко сну отошли, обязаны вставать вместе с солнцем и в настроении чудеснейшем... а если у них не получается раннему подъему радоваться, то исключительно от недостатка старания.

— У него каждую неделю новая любовница. И нынешняя ничем от прошлых не отличается, — пробурчала Евдокия.

Аленка же, обдумав новость с этой точки зрения, сказала:

— Да... пожалуй что... но тут пишут... вот...

И статейку под нос сунула. Газетенка вчерашняя, из тех, которые маменька точно не одобрит, но Аленка маменькиного гнева не боится. Как же, только «Охальник» о ее великой любви и пишет... тьфу.

— Попишут и перестанут.

Аленка тряхнула светлой гривой и неохотно признала:

— Ты права...

Конечно, права... Евдокия всегда права... особенно в шестом часу утра, когда глаза слипаются. Аленка же, утешившись, уходить не спешила. В пустом сонном доме ей было скучно.

— И разве он не прелесть? Скажи, Дуся?

Она прижала скомканный, небось и зацелованный до дыр лист к груди.

— Это судьба, Дуся... это судьба...

— Угу. — Евдокия, которая терпеть не могла, когда ее называли Дусей, поскребла босую

ступню, раздумывая, чем заняться.

Вставать не хотелось.

Холодно. Вот же ж, топят по-новому, паром, а все одно холодно. И тоскливо, пусть бы и весна в самом разгаре... маменька, та уверяет, что будто бы Дусина тоска мужиком лечится, и все перебирает возможных женихов, и каждый перебор скандалом заканчивается.

И ведь не объяснишь же, что Евдокии просто-напросто замуж неохота.

Эх, еще немного, и начнет она Аленке с ее влюбленностью завидовать... хотя нет, Евдокия глянула на одухотворенное личико сестрицы, мыслями уже пребывавшей в храме Иржены-заступницы, и перекрестилась. Чур ее!

Хватит, налюбилась уже...

...лучше о пане Острожском подумать с его пропозициями, бумагами, над которыми Евдокия и засиделась допоздна...

...шахты медные...

...приграничье... Бурятовка... там и вправду добывали некогда медную руду, но еще до Первой войны забросили... ныне же выходило, что если паровые махины поставить, вглубь за жилою уйти, то можно добычу возобновить... и красивый прожект получался, проработанный, да только...

...Серые земли рядом...

— Ничего-то ты не понимаешь, — вздохнула Аленка, сбив с мысли. Она потянулась и слезла с кровати, но газетку оставила.

Авось прочтет сестрица старшая и проникнется...

Уже прониклась.

По самую макушку.

Евдокия фыркнула и закрыла глаза. Сон не возвращался. С полчаса она упрямо лежала, ворочаясь с боку на бок, а потом сдалась-таки и выбралась из-под пухового одеяла. Потянулась до хруста в косточках. Подняла руки над головой и качнулась, сначала влево, потом вправо. И к ногам, к пальцам, что выглядывали из-под полы сатиновой рубашки.

Присела пяток раз, широко руки разводя.

Раньше Евдокия еще и прыгала, потому как Аленкина наставница аглицких кровей уверяла, что будто бы прыжки на месте немало способствуют ускорению тока крови, а желчь и вовсе на раз выводят. Она и сама скакала, смешно вытягивая шею, пытаясь даже в прыжке спину держать... ну да в наставнице той пуда три веса всего... а в Евдокии всяк поболе будет, оттого маменька слезно просила не блажить.

Люстра в гостиной от прыжков качается.

А она дорогая, богемского хрусталя, в том годе только куплена...

— Вы же, пан Себастьян, надо полагать о подобных мелочах вовсе не задумываетесь, — обратилась Евдокия к снимку, который получился на редкость удачным. Узкое лицо с чертами изящными, пусть и несколько резковатыми, с широким подбородком и на редкость аккуратным носом... именно таким, каковой должен быть у шляхтича голубых кровей.

Евдокия потрогала собственный, курносый и с конопущками...

...и скулы-то у пана Себастьяна высокие, и лоб тоже высокий, образцово-показательный, и брови вразлет, и очи черные, и взгляд с прищуром, будто бы известно ему нечто про Евдокию, чего, быть может, сама она о себе не знает. И вообще ненаследный князь Вевельский весь из себя, от макушки до пяток — княжьи пятки, конечно, Евдокии видеть не доводилось, но фантазией она обладала развитой, а потому живо представляла их: белые,

аккуратные, самых аристократических очертаний, — великолепен.

Тьфу.

Надо полагать, часу не пройдет, как статейка отправится в Аленкину тайную шкатулку к иным снимкам. Еще там имелась веточка сухой лаванды и синяя атласная лента. Какое отношение вышеупомянутые предметы имели к Себастьяну Вевельскому, Евдокия не знала и, признаться, знать не хотела.

Она вздохнула и перевернула страницу, желая скрыться от этого лукавого и такого выразительного, прямо-таки издевательского взгляда...

Нет, Евдокия была девицей в целом справедливой, но вот к ненаследному князю Вевельскому она испытывала крепкую неприязнь. И дело было отнюдь не в нем самом. Евдокия подозревала, что о существовании ее пан Себастьян не помнит, а о чувствах к нему и всему роду князей Вевельских и вовсе не догадывается...

...начать следовало издалека, пожалуй, еще со счастливых времен матушкиного девичества, кое проходило в местечке со звучным названием Чернодрынье. Спокойное, славилось оно на все королевство горячими серными источниками, на которые съезжались по лету заможные панны и панночки крепить слабое женское здоровье, а заодно приглядываться к кавалерам. Здесь в моде были легкие скоротечные романы, фирменные паровые котлеты из куриных грудок и соломенные шляпки, магазин которых и держал купец второй гильдии Архип Полуэктович. Был он дельцом не сказать, чтобы успешным, но кое-как умудрялся свести концы с концами, всерьез подумывая о том, чтобы расширить ассортимент лавки за счет атласных лент и гребней, которые вырезали в местной мастерской. Однако планы и оставались планами, поелику денег на расширение у Архипа Полуэктовича не имелось: все уходило на содержание супруги и четверых дочек. Модеста была старшей, она и запомнила тот ужасный день, когда в лавку заглянула высокородная гостья.

Кто не слышал о Катарине Вевельской, каковая предпочла Чернодрынье заморским Бирюзовым водам? Княгиня поселилась в лучшем отеле «Чернодынская корона», заняв сразу весь этаж. За три дня она успела посетить купальни, минеральную лечебницу, где приняла стакан серной воды, и все более-менее приличные рестораны, из которых предпочтения отдала той же «Короне», громогласно заявив, что местный повар знатно готовит фуа-гра под семивойским соусом, что вызвало небывалый ажиотаж и позволило поднять цены втрое...

И вот теперь она заглянула в лавку купца Архипа Полуэктовича.

Модеста запомнила и сухое широкоскулое лицо княгини, и перчаточки ее невообразимой белизны, и моднейшее платье в морскую полоску. И конечно же взгляд, каковой после, пересказывая события того трагического дня, называла равнодушным.

Княгиня соизволили перчаточку снять, передав сопровождающему ее мэру, который пытел, потел и держал под мышкой лысую собачонку гостьи. Мэр передал перчатку помощнику, а тот — личной горничной княгини...

Катарина Вевельская сняла шляпку с деревянной головы — и выбрала дорогую, из выписанных Архипом Полуэктовичем на пробу, — примерила, кинула взгляд в зеркало и скривилась.

— Боги милосердные... какое невыразимое убожество! — сказала она. И все, кто вошел в лавку, закивали, соглашаясь. Тем же вечером «Вестник» разразился обличительной статьей о том, как некие недобросовестные торговцы подсовывают отдыхающим негодный товар...

Статью Модеста Архиповна сохранила, как и истовую неприязнь не столько к самой княгине Вевельской, ставшей невольной причиной отцовского разорения, сколько ко всем вельможным господам. В тот же год, стараясь хоть как-то помочь семье, над которой нависла угроза потерять не только лавку, но и дом, шестнадцатилетняя Модеста приняла предложение Парфена Бенедиктовича, купца первой гильдии, разменявшего шестой десяток, но вдового, бездетного и весьма состоятельного. Свадьба состоялась уже в Краковеле. После венчания счастливый новобрачный, выслушав неискренние поздравления от не очень счастливых родичей, весьма болезненно воспринявших сию новость, увез супругу в свадебный вояж.

Нельзя сказать, чтобы Модеста Архиповна тяготилась замужеством. Супруга она уважала безмерно за спокойный нрав, рассудительность и деловую хватку, которой собственному ее отцу не хватало. И когда Парфен Бенедиктович скончался в возрасте шестидесяти трех лет, горевала вполне искренне. Впрочем, скорби она предавалась недолго: ровно до того дня, когда обиженная завещанием Парфена Бенедиктовича родня выступила единым фронтом, подав на скорбящую вдову в суд. Он затянулся на год. Об этом времени Модеста вспоминать не любила, разом мрачней. Она чувствовала за собой правоту, но высший суд, председательствовал в котором не кто иной, как Тадеуш Вевельский, решил иначе. Признав вескими доводы, что слабой женщине самой не управиться с хозяйством, князь постановил: отдать племянникам покойного смолокурни, солеварню, приносившую княжеству немалый доход, и долю в верфях. За Модестой же остались городской дом, поместье с дюжиной деревенок, приносивших стабильную, хотя и невеликую ренту, и маленький фаянсовый заводик.

— Женщине хватит, — громко заявил князь, отмахиваясь от ходатайства.

И эти слова ранили нежную душу Модесты.

Следующие десять лет Модеста — каковую все чаще именовали Модестой Архиповной с должным почтением и придыханием — доказывала князю, сколь неправ он был. Хиреющий заводик — фаянсовая посуда давным-давно перестала пользоваться должным спросом — она переоборудовала, хотя и пришлось для этого продать и особняк, и личные, Парфеном Бенедиктовичем даренные, драгоценности.

Родня покойного, затаив дыхание, наблюдала. Уверенные в том, что затея упрямой вдовицы обречена на провал, они даже перестали злословить. И сами не замечали, как настороженное внимание подстегивало Модесту.

Фаянсовая посуда? О нет, Модеста точно знала, что именно будет производить. Диковину, виденную в Англии и произведшую на юную купчиху куда большее впечатление, нежели всем известная башня с часами. Да и то: что она, дома башен не видала? Вот унитаз — дело иное... за унитазом будущее. Светлое. Фаянсовое.

Видимо, упорство вдовы пришлось по душе Вотану-дарителю, а может, Иржена-заступница, оскорбленная князьим выпадом — все ж таки хоть богиня, а тоже женщина, — одарила милостью, но дело пошло. Модеста изловчилась и открыла на Королевской улице лавку, гордо поименованную «Фаянсовый друг», у входа в которую поставила два унитаза; правда, дабы окрестный люд, лишенный всяческого понимания и чувства прекрасного, не пользовал упомянутых друзей по прямому их назначению, посадила в унитазы эльфийские шпирь. И колючие бледно-золотистые елочки, славящиеся капризным норовом, принялись.

...не прошло и двух лет, как Модеста расширилась. Помимо унитазов, каковые выпускали аж в четырех вариациях — для прислуги, для гостевых комнат, для мужских и

дамских нужд, последние украшались птичками и розанами, — ее заводик освоил и горшки для шпиров, и фаянсовые расписные рукомошники, мыльницы, и массивные емкости для шампуней... Модеста прикупила фабрику, что выпускала глазурованную плитку...

...а заодно и почти разорившуюся солеварню. Последнюю — исключительно из упрямыства.

Она полюбила бархаты и меха, каковыи носила даже летом, пусть бы и полагали сие дурновкусием; но Модеста пребывала в счастливой уверенности, что богатство свое надо демонстрировать, иначе откуда люди узнают, что к ней, многоуважаемой Модесте Архиповне, надлежит относиться с почтением?

К двадцати семи годам она вернула себе все имущество покойного супруга, каковое почитала своим, завела лысую собачку, точь-в-точь как у княгини, и мужа-эльфа. Последним Модеста Архиповна особенно гордилась и, надо сказать, Лютиниэля-эль-Акхари, которого именовала ласково — Лютиком, любила вполне искренне. Он же, так и не освоившийся в чужой стране, к супруге относился с трепетной нежностью.

Впрочем, любовь ее никоим образом не повлияла на деловую хватку, и до последних дней беременности, которая в отличие от первой протекала легко, не изматывая женщину дурнотой и слабостью, Модеста занималась делами.

...имущества прибывало. То конопляный заводик подвернется, то мануфактурка какая захиревшая, то вовсе угольная шахта... одно к одному, к тридцати Модеста Архиповна первый миллион заработала, но не сказать, чтобы сильно тому радовалась. Хозяйство-то большое, и за всем глаз и глаз нужен.

Управляющие, конечно, были, но надолго они при купчихе не задерживались, отчего-то наивно полагая, будто бы бабский разум не в состоянии проникнуть в хитросплетения бухгалтерского учета.

— Воруют, — сокрушалась Модеста, вышвыривая за дверь очередного управляющего, который слезно клялся, что непременно исправится и наворованное вернет.

Модеста не верила.

И отвечивала оплеуху, а если совсем уж не в настроении была, то и пинка. Телом она была крепка, богата, оттого оплеухи выходили доходчивыми.

Так и жили.

С самого раннего детства Евдокия привыкла к тому, что маменька ее, пусть строгая, но без памяти дочь любящая, все время при деле находится. И отвлекать ее не след. Евдокия росла среди бумаг, бухгалтерских книг и счетов. Она рано освоила язык цифр, научилась отличать фарфор от фаянса, а фаянс от майолики и разбираться в тонкостях подглазурной росписи.

Семейное дело было куда интересней кукол и подружек, тем паче с последними у Евдокии не ладилось. Скучно ей было что с детьми, что с нянькой, пусть бы она знала все девять легенд о Вевельском цмоке, а сказок с присказками и вовсе бессечно. Но от няньки Евдокия сбегала, пробираясь в маменькин кабинет. Она пряталась под столом и сидела тихо-тихо, перебирая гранатовые косточки абака.

— Запомни, Дуся, — в короткие минуты отдыха Модеста Архиповна брала ребенка на колени, от матушки пахло хорошо: книжной пылью, чернилами и тяжелыми цветочными духами, — истинная свобода женщины вот она...

И Модеста Архиповна выкладывала башенки из монет.

— Будут у тебя деньги — будешь сама себе хозяйка, и никто-то тебе словечка не скажет.

Вот медь, за нее можно купить конфету. Или две... но петушка ты съешь и забудешь, и монеты уже не останутся. — Медные башенки были самыми высокими. И Евдокия с преогромным удовольствием рушила их. Тяжелые монеты катились, и маменька хмурилась: не след так с деньгами обращаться. Она заставляла Евдокию собирать все деньги, до последнего медня.

Деньги Евдокии нравились.

Медни были разными. Одни новенькие, блестящие, с чеканным королевским профилем на аверсе и двуглавым орлом на реверсе. Другие — уже пожившие, потерявшие блеск. И король на них смотрел будто бы с прищуром, хитро, аккуратно, как мясник, которого маменька в глаза называла жуликом. А кто, как не жулик, если за корейку просит аж полтора сребня? Где это виданы такие цены? Чем старше становились монеты, тем сильнее менялся король. На совсем уж древних, затертых, королевский лик был неразличим, а орлы и вовсе покрывались характерной прозеленью.

— Вот серебро, — учила маменька, позволяя взять увесистую монету. — В одной серебряшке десять медней. Но десять медней ты вряд ли выменяешь на одну серебряшку...

Золото было тяжелым, нарядным. Его Евдокии разрешали держать, и она, пробуя монету на зуб, выстраивала башни... один злотень — десять сребней. А если в меди, то и вовсе много получается.

Маменька, видя этакую старательность, умилялась.

Разумницей растет.

Вся в родителей.

Наставники, нанятые Модестой Архиповной, пусть и дивились этакой блажи — где это видано, чтоб девицу обучали не шитью, но математике с астрономией? — к делу подошли серьезно. Да и Евдокия оказалась благодарной ученицей, жадной до нового.

Вот только упертой, что твоя коза...

Это маменька поняла, когда вздумала доченьку любимую, восемнадцатый год разменявшую, замуж выдать. И ведь супруга подыскала хорошего, разумного, сильного, а что слегка рябенького, оспую побитого, так с лица ж воду не пить! Зато хоть и хваткий, но тихий, небуянистый.

Ко всему — из шляхты.

Очень уж Модесте Архиповне хотелось со шляхтой породниться...

— Не пойду, — сказала Евдокия, поджав губы. — Он мне не нравится. И вообще, я замуж не хочу.

Маменька попробовала было призвать дочь к послушанию, но выяснилось, что упрямством Евдокия пошла не иначе как в маменьку.

Скандалили месяц.

Не разговаривали еще два. И Лютик, который ссорами тяготился, тщетно взывал к разуму, что супруги, что падчерицы. Закончилось все проводами очередного управляющего, а ведь показался-то разумным человеком, и несказанной обидой, коию вновь нанес Модесте Архиповне князь Вевельский.

Это ж надо было: взять и не пригласить достопочтенную купчиху на купеческое собрание!

Чем она иных хуже?

А еще нашлись доброхоты, донесшие небрежное, князем брошенное:

— Бабе — бабье...

Вот так, значит... бабе — бабье... небось налоги-то взыскивает наравне с иными мужиками, а в собрание, значит, лезть не моги? И обида теснила грудь Модесты Архиповны...

— Маменька, плюньте на этого женоненавистника, — сказала Евдокия, отчасти покрывив душой. Женщин пан Тадеуш любил; и об этой его любви, которая приключалась в основном к весне ближе, «Охальник» писал весьма подробно, неискренне сетуя на падение нравов.

Может, нравы и падали, но тиражи росли.

— Плюньте и забудьте. — Евдокия дернула себя за косу. Пожалуй, из всей маменькиной красоты достались ей лишь волосы: длинные, тяжелые, яркого соломенного колеру. — Ваши унитазаы во всем Краковеле знают.

Это было слабым утешением.

Конкурентов в последнее время объявилось, да продукция их была не в пример хуже, но и дешевле. Оттого и спрос имелся.

...поговаривали, будто бы сам князь Вевельский фаянсовый заводик прикупил, через третьи руки, конечно, потому как не по чину князю с унитазаами возиться...

— Надо делать эксклюзив, — сказала Евдокия и протянула тетрабочку. — Погляньте, маменька, я все тут расписала как есть...

...и тогда-то Модеста Архиповна поняла, что замуж дочь выдать не получится. Кто ж возьмет ее, такую не в меру разумную? А с другой стороны, может, оно и к лучшему.

— Вы местечково мыслите, маменька. — Евдокия, поняв, что бита не будет, осмелела. Она села, расправив подол мышастого саржевого платья, и сгребла горсть каленых орешков, до которых была большой охотницей. — Надобно же в разрезе эуропейских тенденций.

— А розгами? — поинтересовалась Модеста Архиповна, но не зло, так, для порядку. И то сказать, дочерей своих она отродясь не порола, даже когда Аленка изрезала пять аршинов дорогущего бархату... бабочки, видишь ли, ей понравились.

— По первости необходимо зарегистрировать торговую марку, такую, чтоб все узнавали. Затем проплатить рекламу... и не только в «Ведомостях». У «Охальника» тиражи выше... и еще, чтобы какой-нибудь профессор, лучше, если не наш, напишет, что будто бы наш фаянс особый, от него здоровья прибавляется...

— Через задницу? — Модеста Архиповна присела.

— А хоть бы и через задницу. Многие только ею и живут, сами ведь говорили.

— Дуся!

— Что, маменька?

— Ничего, детонька... — Модеста Архиповна от орешков мужественно отказалась. В последние годы, когда в постоянных разъездах отпала нужда, а стол стараниями дорогого супруга стал разнообразен, фигура ее претерпела некоторые изменения. И пусть бы тонкостью стана Модеста не отличалась и во времена далекого девичества, но и расплываться ей не хотелось. — Наш профессор дешевле обойдется.

— Зато иноземцу больше верят.

И то верно...

...главное, что не прошло и недели, как в Торговой палате было зарегистрировано новое товарное клеймо «Модесть». Чуть позже в «Охальнике» увидела свет статья о благотворном влиянии фаянса на внутреннюю энергию организма. Естественно, фаянса не всякого, а исключительно того, который сделан из каолина, добытого на Эльфийском взморье,

пропитанного волшебством Пресветлого леса и кристаллами соли... Проплаченный профессор — обошелся в двести злотней — разливался соловьем. Модеста Архиповна только хмыкала, читая.

— Вотан милосердный, — сказала она, отложив газетенку, — это ж вранье!

— Не вранье, — возразила Евдокия, — а реклама...

...вскоре нашлись чудом исцелившиеся, о которых «Охальник» писал с неизменным восторгом, открыв специальную рубрику «Народное здоровье». А о солдатской жене, пять лет лечившейся от бесплодия, но зачавшей исключительно после того, как начала пользоваться унитазом торговой марки «Модестъ», и вовсе сделал отдельный выпуск.

«Вестник» вел себя скромнее, в основном подчеркивая высочайшее качество, доступность цен и эксклюзивную линию с уникальной эльфийской скульптурой. В последнем, к слову, не врал. Лютику новое занятие весьма себе понравилось...

Дело ладилось.

Особый успех возымел выпуск унитазов марки «Вершина»: массивных, снабженных широкими подлокотниками, с обитым лисьей шкурой сиденьем и бачком в форме высокой спинки с вензелями. Злословили, что сии агрегаты весьма напоминают трон, но... разве, Вотан милосердный, такое возможно?

Конечно нет.

Как бы там ни было, но вскорости Модеста Архиповна, не кривя душой, могла считать себя королевой фаянса... вот только на позапрошлогодней выставке товаров народного потребления, куда ее скрепя сердце пригласили, грамоту за продукцию высшего качества князь Вевельский вручил не ей.

— Бросьте, маменька, — сказала тогда Евдокия, косу на руку накручивая, — очевидно же, что налицо предвзятое отношение. Князь давно и прочно ангажирован.

Это Модеста Архиповна понимала, но обида-то осталась.

— Ничего, — она поправила соболиную шубу, подол которой тянулся за купчихою меховым шлейфом, — будет и на нашей улице праздник.

И к выставке новой готовилась со всем тщанием, справедливо рассчитывая, что усилия ее оценят по достоинству. Евдокия с тоской вспомнила, кому и сколько пришлось заплатить за обещание, что на сей-то раз... и ведь не вернули деньги, мол, по обстоятельствам независящим... в общем, нехорошо все вышло.

Князь с супругой, бледной дамой в изысканном туалете, объявился на третий день. И прошествовал мимо, не удостоив Модесту Архиповну взглядом. Та же, с некоторым злорадным удовольствием, весьма понятным в сложившейся ситуации, отметила, что давний недруг со времени последней встречи еще более постарел, обрюзг и вовсе уж неприлично раздался в талии. От военного прошлого остались выправка и синий уланский мундир, сшитый, естественно, под заказ.

Евдокия видела три подбородка, подпертых жестким воротником кителя, и золотой позумент. Аксельбанты. Руку, что небрежно возлежала на усыпанной драгоценными камнями рукояти сабли. Изысканно отставленный локоток, за который придерживалась супруга.

Залысины.

Пухлые щеки и тонкие, брезгливо поджатые губы.

Проигнорировав Модесту Архиповну, князь Вевельский все же остановился перед стендом фирмы «Модестъ». Ленивым томным жестом извлек он монокль, долго, старательно протирал стеклышко его платочком, причем Евдокия точно знала, что платочек

сей благоухает лавандовой водой. Князь же поднес монокль сначала к правому глазу.

Скривился.

И переставил в левый, будто надеясь таким вот нехитрым образом увидеть нечто иное.

— Посмотрите, дорогая, — густой бас Тадеуша Вевельского перекрыл гомон выставки, — какая невероятная безвкусица...

Он снизошел до того, чтобы указать на гордость Модесты Архиповны: усовершенствованную модель «Вершины», исполненную в черном цвете. Лисий мех на сиденье был заменен куньим, куда более плотным и теплым. Завитушки и медальончики сияли позолотой, равно как и грифоньи лапы, сугубо декоративные, но весьма хищного вида, впившиеся в красную ковровую дорожку, что полотняным языком стекала с постамента. Пожалуй, сходство фаянсового кресла для размышлений — а именно так был назван унитаз, дабы не смущать неловким словом слух дам, — с тронном было вовсе уж неприличным, но... народу нравилось.

— Кошмаг, — пролепетала княгиня, заслоняясь кружевным веерочком.

Модеста Архиповна, стоявшая тут же, так и осталась незамеченной, невзирая на то, что требовалась немалая сноровка, чтобы не заметить семь пудов живого веса, облаченных в аксамит и соболя. Однако факт оставался фактом.

— Неужели кто-то покупает подобное?

Князь ступил на дорожку.

...а ведь многие именно так и заказывали. Туалетную залу с постаментом на три ступеньки и дорожкой. Евдокия тоже не понимала этого, но разве не спрос рождает предложение?

И теперь ощущала острую обиду.

За маменьку.

За Лютика, который и сотворил «Вершину». И за себя, чего уж душой кривить...

— Пгосто ужас. — Княгиня разглядывала фаянсового монстра издали, с явным испугом, будто бы опасаясь, что сие создание вдруг да оживет.

Нижняя губа ее дрожала.

И веер в руке.

И сама она вся — от белого перышка, которым была увенчана сложная прическа, до каблучков изящных туфель.

— Ах, матушка, вот вы где... — раздалось веселое, и княгиня облегченно выдохнула. Она вцепилась в руку смуглого темноволосого мужчины с такой страстью, что Евдокии стало неудобно.

Напугала женщину...

...маменька говорила, что у высокородных дам нервы слабые, а тут унитаз с фаянсовыми рюшами и мехом. Стоит, морально давит.

— Догогой, — с явным облегчением воскликнула княгиня и, указав не то на унитаз, не то на Евдокию, сказала: — Посмотри, какой кошмаг!

Князь смотрел на «Вершину», Евдокия — на князя...

...нет, ей случалось видеть его портреты, верно, как и всем жителям королевства Познаньского, но чтобы живьем... и вот так близко... настолько близко, что Евдокия учуяла тонкий аромат его туалетной воды.

Сандал.

И, кажется, цитрус, популярный в нынешнем сезоне.

...костюмчик тоже, словно со страниц «Модника» взят. Белые брюки в узкую полоску и однобортная визитка с атласной бутоньеркой гридеперлевого оттенка. Пуговицы на рукавчиках рубашки черные. И шейный платок повязан широким узлом, к которому и Лютик не сумел бы придраться.

Да и сам князь... смуглявый, черноволосый... и волосы, наперекор всем правилам, отрастил длинные, носит, в хвост собравши. Черты лица резковатые, но благородные, утонченные.

...недаром Аленка с его портретом под подушкой спит.

Хотя сволочь. По глазам, черным, наглым таким глазам видно, что сволочь. Или это просто предчувствие такое? Впрочем, Евдокия предчувствиям доверяла, и нынешнее ее не обмануло.

— Уважаемая... — Княжич обратился не к Модесте Архиповне, которую, надо полагать, все семейство Вевельских не замечало принципиально, но к Евдокии. И одарив ее взглядом, каковой заставил почувствовать собственное несовершенство, сморщил нос: — Вы не могли бы это убрать?

— Куда?

Евдокия вдруг поняла, до чего неправильно она выглядит. Невысокая, крепко сбитая, с простым круглым лицом, в котором нет и тени аристократизма, столь желанного маменьке.

...и платье это дурацкое, с оборками и кружевами... Модеста Архиповна настояла: мол, переговоры предстоят, партнеры заявятся и надо бы выглядеть *сообразно*... вот и парилась Евдокия в нескольких слоях бархата, щедро расшитого золотом и янтарными бусинами, а на плечах еще и шуба возлежала в пол, почти как у маменьки... на шее ожерелье в полпуда с крупными топазами... в ушах — серьги...

Ленты в косе атласные, переливчатые...

Дура душой.

И в башмаках на высоком, по последней моде, каблуке. В них-то Евдокия и стоять-то замаялась.

— Куда-нибудь, — пожав плечами, сказал князь. — Видите же, ваше... произведение искусства...

...улыбку эту репортеры любили, было в ней что-то хулиганское, диковатое...

— ...весьма нервирует мою матушку.

— Чем же? — Евдокия заставила себя смотреть ему в глаза.

...черные какие, непроглядные.

Нет, она не такая дура, чтобы в ненаследного князя влюбиться. Она — девушка разумная, современная, отдающая себе отчет, чем подобная влюбленность чревата: разбитым сердцем, подпорченной репутацией и несколькими невинно утопленными в слезах подушками.

...а поговаривали, что из-за него, бессердечного, одна девица вены резала, а другая уксусом травилась, но, к счастью, не до конца отравилась. А из больницы и вовсе крепко поумневшей вышла, остриглась и удалилась от мира именем Иржены-заступницы добро творить.

Столь радикально менять свою жизнь ради эфемерного чувства Евдокия не планировала. Но до чего же сложно оказалось сохранить душевное равновесие. Дыхание, и то сперло. И щеки запылали, зарумянились... или то от жары? В шубе по летнему времени парило... Себастьян же наклонился, близко-близко, к самому ушку и доверчиво, нежно почти

— со стороны, верно, сие выглядело совсем уж непристойно — произнес:

— Созерцание сего монстра доставляет несказанные муки ее эстетическому чувству... поэтому окажите уж любезность...

Евдокия, несмотря на непривычное волнение и щемящую, какую-то внезапную боль в груди, любезной быть не собиралась. Но, верно, Себастьян на то и не надеялся, оттого прибег к иному средству. И часу не прошло после того, как чета Вевельских, сопровождаемая сыном и восторженными взглядами, удалилась от стенда фирмы «Модесть», как появился учредитель. И кланялся, лепеча о новых обстоятельствах неодолимой силы, изменить каковые не в его власти при всем уважении, которое лично он испытывает к Модесте Архиповне...

...к вечеру стенд убрали.

Сволочи.

В общем, то самое знакомство, мимолетное, как краковельская весна, оставило в душе Евдокии глубокий шрам. Раненое самолюбие ныло по ночам и еще на осенние дожди, заставляя мечтать о несбыточном. В этих ее мечтах, несмотря ни на что по-девически стыдливых, неизменно фигурировал растреклятый ненаследный князь, который стоял на коленях, умоляя...

Как правило, на этом месте мечты обрывались. Все же Евдокия была настроена к делам сердечным скептически. И этот скепсис порой здорово мешал жить.

Или помогал?

Она так и не решила.

Как бы то ни было, но злосчастная выставка несколько подпортила репутацию фирмы. К счастью, основная масса краковельчан не разделяла тонкого вкуса княгини, а потому пошатнувшаяся была торговля весьма скоро наладилась...

Жизнь тоже.

Ну, более или менее...

...и все-таки день, который начался с Себастьяна Вевельского, просто по определению не мог пройти спокойно. Эта примета, пусть существовавшая исключительно в воображении Евдокии, срабатывала всегда. И она, демонстративно повернувшись к ненаследному князю спиной — игнорировать его, рисованного, было куда проще, нежели живого, — сняла рубашку.

Прохладная ванна — модель «Розовое облако», сделанная из чугуна высшего качества, — унесла остатки сна, вернув Евдокию к собственным не самым веселым мыслям.

Двадцать семь лет.

Шутка ли, треть жизни... ладно, четверть, в матушкином роду частенько долгожители встречались, а хороший ведьмак накинёт еще лет двадцать, но все одно позади. И чего она, Евдокия Парфеновна, девица возраста, который уже неприлично называть девичьим, в жизни добилась?

Стала правой рукой матушки?

Но та все чаще грозитя от дел Евдокию отстранить, мол, не о том думать надобно... и эти ее участившиеся в последний год разговоры о замужестве...

...приданое, которое маменька положит, заставит потенциальных женихов закрыть глаза и на Евдокиин почтенный возраст, и на ее характер, и на прочие недостатки, из которых самым существенным был один... да и не только приданое, сколько перспектива все

семейное предприятие унаследовать...

...Аленку-то небось и без золотого запаса умчат... уже бы умчали, ежели б к отцовской хрупкой красоте не прилагался бы матушкин здравый смысл, помогавший Аленке устоять перед настойчивыми, а порой и назойливыми ухаживаниями.

Или дело было вовсе не в здравом смысле, а в этой ее патологической влюбленности?

Нашла в кого...

Сложно все. Запутанно. И день ото дня легче не становится.

А еще конкурс этот, некогда удачной идеей казавшийся...

— Дусенька! — донесся сладкий, как засахарившийся мед, матушкин голос. И значит, пора выбираться... никак очередной «хороший знакомый» совершенно случайно в гости заглянул. Откуда она их только берет, знакомых этих, возраста самого подходящего? — Золотце мое, мы тебя ждем...

Ждут.

И ведь дождутся, думать нечего. И значит, нет смысла оттягивать неизбежное знакомство.

...от жениха в ванне не спрячешься.

За последний месяц их в доме перебивало семеро. Особо Евдокии запомнился престарелый отдышливый шляхтич с тросточкой, лысиной и бачками, которые он смазывал воском. Шляхтич прикрывал глаза ладонью, будто бы слепила его неземная Евдокиина красота, и после обильной трапезы срыгивал... был еще вдовец, обремененный пятью детьми и долгами, о которых говорил он розовея, будто бы стыдясь... и старый маменькин деловой партнер, с ходу заявивший, что жену свою жить отправит в деревню, дескать, там воздух здоровее...

И где только маменька находила таких?

Нынешний кандидат выгодно отличался от предыдущих немалым ростом. Он был молод, с виду годков семнадцати-восемнадцати, розовощек и светловолос. Причем волосы эти — тут Евдокия могла поклясться — завивали раскаленными щипцами, потому как не бывает у живого человека этаких аккуратных локонов. И небось предварительно в сахарной воде вымачивали, оттого и вились над жениховской макушкой осы.

Обрядили же красавца в красную шелковую рубаху с расшитым воротом, модные штаны в узкую полоску и скрипучие хромовые сапоги. На шею цепь повесили золотую. На пухлые пальцы с обкусанными ногтями перстней надели дюжины с две.

И через одного с камнями.

В перстнях жениху было неудобно, а может, не в них дело, но в том, что непривычен он был к смотринам, оттого смущался, пальцами шевелил, цепляясь кольцом за кольцо. И дергался, смущался...

...поглядывал на маменьку, которая стояла тут же, прела в плюшевой, бисером расшитой душегрее, оглядывалась, подмечая что люстру хрустальную, что обои с золочением, что мебель итальяскую, по каталогу выписанную... подмечала и хмурилась. Пальчик выставила, ноготком резьбу на низенькой софе ковырнула, верно проверяя, густо ли позолочено... и вновь ручки на животе сложила, замерла истуканом, вперив в Евдокию настороженный недобрый взгляд.

— Знакомься, Дусенька, — пропела Модеста Архиповна, отмахнувшись от особо назойливой осы. — Это Аполлон.

Аполлон поднялся и отвесил поясной поклон, ручкой по ковру мазанув.

Дрессированный... кланяется и на матушку смотрит, и та кивает, улыбается, мол, правильно все делаешь, а сама Евдокию едва ли не пристальной чем мебель разглядывает.

Не по вкусу ей девка-перестарок.

И рябая, ко всему.

Евдокия хмыкнула, мысленно поправляя себя: не рябая, а веснушчатая. Дедово наследство, если маменьке верить. Она же, окрыленная надеждой — неужто устоит девичье сердце перед Аполлоном? — хлопотала, пела-заливалась, рассказывая, какая Евдокия у нее умница...

...ну да, не за красоту же хвалить.

Красота вся Аленке досталась; оттого, верно, и спровадили ее из-за стола, от греха подальше. Нечего у старшей сестры женихов отваживать.

Евдокия вздохнула, смиряясь с неизбежным.

Естественно, усадили их рядом с Аполлоном, и тот, смущенный близостью незнакомой девицы, густо покраснел.

— А вы... того... глаза красивые, — вспомнил он наставления маменьки, которая поджала узкие губы.

На стол несли снедь. И Евдокия, глядя, как кумачовая парадная скатерть теряется под обилием блюд, подсчитывала, во что эти смотрины станут. Расстаралась маменька. Тут и телячьи щеки с чесноком, и стерлядь в клюквяном соусе плавает, выставила харю, точно надсмеается над этойкой невестой, и почки заячьи, и перепела в собственном соку, пулярочки, голуби...

А маменька все щебечет и щебечет.

Осы гудят.

Молчит женишок, руки пудовые на коленках сложил, мнется, сугулится...

...Иржена-заступница, за что Евдокии этокое мучение?

— А вы чем занимаетесь? — бодрым голосом поинтересовалась она, втыкая серебряную, из парадного сервиза, вилку в стерляжий бок.

Стерляди уже все равно, а Евдокия хоть душу отведет.

— Учится он. — Голос у будущей свекрови оказался низким, мужским. И сама она, пусть и обряженная в бархатное платье с кружевами, нашитыми плотно, богато, имела вид мужиковатый. Какая-то вся квадратная, короткошея, с красным, густо напудренным лицом. Над верхней губой из-под пудры темные усики проглядывают. Волосы муравьиной башней уложены, украшены парчовыми розами и перьями.

— Неужели в Королевской академии? — почти правдоподобно восхитилась Евдокия.

Женишок покраснел еще более густо и потупился.

— Отчего сразу Академия? Нам Академии без надобности, верно, Полюшка?

Аполлон кивнул и, бросив на маменьку быстрый взгляд, шепотом попросил:

— А можно и мне рыбки?

Стерляди было не жаль. И густого клюквяного соуса, который у матушкиной поварихи получался терпким, кисловатым.

— Полюшка, — пропела будущая свекровь, вперив в Евдокию немигающий взгляд, — осторожней. Тебя от рыбки пучит... а от клюквы у нас щечки краснеют. С детства.

Полюшка временно оглох.

Евдокия сделала вид, что сказанное ее не касается, и, повертев в пальцах вилку, продолжила... расспросы. Конечно же расспросы. И нечего маменьке глазищами сверкать да

страшные рожи корчить. Она, Евдокия, имеет право знать, с кем под венец пойдет...

...упаси ее Иржена от этакого счастья.

Счастье ело рыбку руками, шумно вздыхая, похрюкивая и щурясь. Закусывало луковым пирожком, который взяло уже само, отринув ложное стеснение. Пирожки и вправду ныне вышли румяными, золотистыми, маслицем поблескивающими.

Маслице растекалось по перстням и камням, капало на подол рубахи. Пухлые губы Аполлона блестели, и щеки тоже блестели, и весь он блестел, словно леденец на палочке.

— Так все-таки где вы учитесь?

— Так это, — Аполлон облизал и пальцы и кольца, — в школе...

— В вечерней школе, — поправила его матушка низким свистящим голосом.

— Ага!

— А почему в вечерней? — Евдокия старалась быть любезной и подвинула к будущему супругу блюдо с куриными пупочками, в меду варенными. Он благодарно крякнул.

— Так это, маменька днем не может!

— Чего не может?

Пупочки Аполлон вылавливал пальцами и, счастливый, отправлял в рот. Вздыхал. Запивал квасом и вновь тянулся к блюду.

— Так это... водить меня в школу не может. Днем у нее работа...

— У Гражины Бернатовны, — поспешила влезть в беседу маменька, — собственная скобяная лавка имеется.

Свекровь кивнула и важности ради надула щеки, сделавшись похожей на жабу в бархате.

— Мы, чай, не бедные... не беднее вашего.

С этим утверждением, пожалуй, Евдокия могла бы и поспорить, но не стала: так оно безопасней.

— Мама работает много. — Аполлон смачно отрыгнул и вытер лоснящиеся губы ладонью. — А поросенка дашь?

— Полюшка, тебе жирненького нельзя!

...пучить будет. Или щечки покраснеют.

Без вариантов.

И Евдокия мстительно поспешила отрезать внушительный ломоть. В конце концов, ей ведь надо жениху понравиться? Надо. А с поросенком молочным оно вернее будет.

— Нас от жирного поносит, — доверительно сказала Гражина Бернатовна.

Поносит, значит... не угадала.

Аполлон смутился и пробурчал:

— Я ведь немного...

— Вилкой и ложкой роем мы могилу себе! — Произнося сию великомудрую сентенцию, Гражина Бернатовна глядела исключительно на Евдокию. Сама же, изящно оттопырив мизинчик, жевала салатный лист.

Ничего. Главное от основной темы не отвлекаться.

— Значит, вы Аполлона в школу водите?

Кивок.

— А сам он что, дойти не способен? — Вилка в руках Евдокии описала полукруг.

Молчание.

И взгляд свекрови, раздраженный, гневный даже. Видно, что женщина из последних сил сдерживается. Губа выпятилась, пудра с усиков пооблетела.

— Я маме тоже говорил, что сам могу. — Аполлон вовсе освоился и, почуяв поддержку, подвинулся ближе. Лавка под его немалым весом закрипела и прогнулась. — Она не дает.

Он отмахнулся от осы и устремил на Евдокию взгляд — глазища у Аполлона были огромные, ярко-синие, окаймленные длинными ресницами.

— Мне бы еще яблочка... моченого!

— Поля!

— Мам, я ж только одно! — Яблочко цапнул и поспешно, точно опасаясь, что потерявшая терпение матушка вырвет его из рук, сунул в рот. Щека оттопырилась, и Аполлон пробурчал: — А в городе небезопасно.

Евдокия только и смогла, что кивнуть.

Она с трудом представляла себе опасность, которая могла угрожать этакому детинушке... наверное, от опасности его тоже поносит. Или запоры. Или еще какая беда приключается...

— И соблазнов много, — произнесла Гражина Бернатовна, отправляя в рот засахаренную клюквину. У нее, стало быть, щечки от клюквы не краснеют. — Срамные времена.

Маменька, чувствуя, что все идет хоть не по плану, но близко, поспешно согласилась.

Ужас, а не времена.

Как только жить можно?

— Куда ни глянь, то кабак, то дом игральный... мой мальчик вырос в строгости...

Аполлон лишь шумно вздохнул да, пользуясь тем, что матушка отвлеклась, стащил еще одно яблоко. Видать, в строгости, где бы она ни находилась, яблочек ему не перепало.

— Конфету хочешь? — шепотом спросила Евдокия.

Жениха было по-человечески жаль.

— Шоколадную?

— Ага. И с орешками...

— ...и девки нынешние пошли... разврат сплошной. Я так одной и сказала, которая на моего Полюшку заглядывалась, а сама-то... обрядилась, как...

— С орешками мне нельзя... — Он потупился, признаваясь: — От орехов почесуха приключается... но если только одну.

Конфету Евдокия передала под столом.

— Спасибо, — искренне сказал Аполлон. — Ты мне нравишься! Выходи за меня замуж!

И маменька, услышав заветное, радостно всплеснула руками: стало быть, поладили детки.

— Я... — Евдокия прокляла себя, знала же, что жалость до добра не доводит, — я подумаю.

— А чего думать? — Гражина Бернатовна разом позабыла про девок и срамные наряды, в которых ноги видать, а как ветер подует, то не только ноги, но и задницу... — Ты небось не молодеешь...

— Я подумаю, — повторила Евдокия, стискивая вилку.

Пусть могила недорытой останется, но сражаться Евдокия будет до последнего.

— ...и женихи в ворота не ломаются. А когда б и ломались, то знай, что лучше моего Полюшки мужа не сыскать. Он у меня красавец...

Аполлон от матушкиной похвалы зарумянился, взор потупил, ресницами взмахнул.

— И умница, каких поискать... он у меня стихи пишет.

Неужели?

Евдокия заткнула себе рот конфетой. Шоколадной. С орехами. Ей-то точно запоры не грозили, впрочем, как понос, краснуха и прочие детские, давным-давно изжитые болезни.

— Полюшка, почитай свои стихи...

— Ну ма-ам...

— Почитай, сказала.

Аполлон со вздохом поднялся, вытер лоснящиеся пальцы о рубаху и, выпятив для важности грудь, прочел:

— Однажды, в погожую летнюю пору, корова нагадила подле забору...

Модеста Архиповна поспешно подняла граненый стакан с медом, притом хитро рукой заслоняясь, осы притихли, а Гражина Бернатовна захлопала, всем видом своим сына поддерживая.

И опять в Евдокию вперилась.

Надобно что-то сказать... Аполлон вон ждет, ковыряет пальчиком скатерть, смущение изображая.

— Жизненно, — оценила Евдокия.

И жених, глядевший на нее искоса, с опасением, должно быть почуяв в будущей супруге нездоровые критические наклонности, духом воспрял.

— А то! Корова-то соседская... нагадила, а оно и воняет... вот и сочинилось. Там еще мухи были. Но я про мух писать не стал.

— Отчего же?

— Рифмы не нашел. — Аполлон стыдливо потупился. — Мухи... и мухи... а два раза если, то это уже повтор будет. С повтором уже нехорошо.

— Мухи... духи... — пробормотала Евдокия, сдерживая смех.

— Мухи... духи... мухи...

Аполлон застыл. Взгляд его затуманился, рот приоткрылся; и оса, до того витавшая над сахарными локонами, стыдливо присела, не желая, верно, гудением своим прерывать тонкий творческий процесс.

— Придумал! — воскликнул Аполлон, ударяя в грудь пудовым кулаком. — Это... сейчас я... во! А над кучей мухи витают, точно духи!

Евдокия поспешно заткнула себе рот яблоком. Жених же, упершись в стол указательным пальцем, попросил:

— Выходи за меня... музой будешь.

Заманчивая перспектива.

— Я... — голос Евдокии дрогнул, — подумаю.

Естественно, заявление это было встречено будущей свекровью без должного понимания. Она поднялась и, обойдя стол — Гражина Бернатовна ступала важно, и колокола длинных юбок колыхались, — остановилась рядом с сыном.

— Думай, — сказала она. — Да не задумывайся. Мы небось в женихах не застоимся.

Погладила по кудрям, спугнув притихших ос. Кудри же под нажимом ласковой материнской руки захрустели.

— Мам, а можно я себе потом собаку заведу?

— Собаку? Ну зачем тебе собака, дорогой? — сказала Гражина Бернатовна и вытерла платочком лоснящиеся губы дитяти. — От собаки шерсть и блохи... а еще вдруг укусит?

...правильно, жена — она всяко собаки лучше.

К счастью, гости на чай задерживаться не стали. Должно быть, Гражина Бернатовна опасалась, что Евдокия коварно скормит драгоценному ее отпрыску не только шоколадные конфеты, но и крыжовенное варенье, на которое...

Чушь какая!

Евдокия потрясла головой: нет уж, она скорее в монастырь уйдет, чем замуж...

— Ну и этот-то чем нехорош? — поинтересовалась маменька, макая в чай баранку. Пила она красиво, переливая чай из чашки в блюдце, а то водружала на три пальца. Модеста Архиповна наклонялась к краю блюдца, вытягивала губы трубочкой и дула, отчего чайное озерцо приходило в волнение.

— Всем!

— Молодой... красивый...

— Как пряник с сусальным золотом.

— И стихи вон пишет...

— Про коров.

Евдокия чай пила из чашки и горячий, обжигающий.

— Зато здоровый какой, — возразила маменька, уже понимая, что прекрасный Аполлон оставил упрямую дочь равнодушной.

— Во-первых, мне на нем не пахать. — Евдокия разломала сушку в руке. — Во-вторых, сомневаюсь, что запор с поносом и почесухой — признаки здоровья... и вообще, я не хочу замуж!

Маменька, зацепив щипчиками сахарный осколок, обмакнула в чай. И белый рафинад потемнел.

— Не так там и плохо, — примирительно сказала она, глядя, как с осколка в чай капают сладкие капли. — Всяк лучше, чем старой девой... вот доживешь до моих лет и поймешь, что счастье — в детях.

— Ну да...

— А без мужа и не думай. — В этом вопросе Модеста Архиповна была непреклонна. Веяния веяниями, а приличия — приличиями.

Следовало признать, что в чем-то маменька была права... не то чтобы Евдокию тянуло обзавестись семьей, но... принято же. Вон и деловые партнеры косо поглядывают, всерьез принимать не хотят. Одно дело — серьезная замужняя женщина, и другое — девка-перестарок.

Дернув себя за косу для смелости, Евдокия решилась:

— Я сама себе мужа найду.

Маменька приподняла бровь.

— Послушай... мы ведь все равно спонсируем этот конкурс...

...идея принадлежала Евдокии, и матушка долго не желала понять, какое отношение конкурс красоты «Познаньска дева» имеет к унитазам. А самое что ни на есть прямое...

— ...я отправлюсь в качестве...

...уж точно не конкурсантки.

— ...полномочного представителя от фирмы «Модестъ». — Евдокия щелкнула пальцами. — Буду следить, куда наши деньги расходуются.

Матушка кивнула. Вот проследить — это понятно... деньги, они такие, чуть отвернешься, враз разворуют.

— Конкурс же будет проходить при дворе... и я думаю, там найдется пара-тройка

вдовцов, не обремененных детьми...

...и состоянием, поскольку иного варианта для себя Евдокия не видела. И да, при дворе она постарается найти мужчину, который не слишком сильно изменит привычную ее жизнь.

Муж?

Пускай... и после замужества жизнь существует.

— А Грель? — Модеста Архиповна облизала рафинад, с которого в блюде падали темные капли. — Мы ж его послать собирались... ты сама предлагала. Он себе и штаны купил новые, со штрипками.

Штаны со штрипками были, конечно, весомым аргументом, но Евдокия не собиралась отказываться от идеи, пусть и внезапной, но неожиданно любопытной.

— Грель другим разом скатается, — сказала она. — Штаны его обождут... в конце концов, муж штанов важнее. Наверное.

И сердце замерло: а вдруг не согласится маменька? Нет, она женщина разумная, но и на нее порой блажь находила. Отчего молчит, разглядывает не то Евдокию, не то собственное в самоваре отражение.

Евдокия тоже глянула и отвернулась.

Лицо, и без того безмерно округлое, размазалось по медному боку, расплылось, сделавшись и вовсе уродливым... перестарок.

...зато с миллионами. А миллионы — они и при дворе миллионы... главное, распорядиться ими с умом.

— От и хорошо, — произнесла маменька со странным удовлетворением, разгрызая сахарный осколок. — Съезди, Евдокиюшка, развейся... погляди, как оно в столицах. Заодно за Аленкой присмотришь...

...о нет!

Глава 3

О шпионах, мздоимцах и секретных операциях

Назвался груздем — держись легенды.

Негласный девиз королевских акторов

К своим пятидесяти трем годам Евстафий Елисеевич, выборный познаньский воевода, обзавелся обширной лысиной, которая, по уверениям любезнейшей его супруги, придавала обличью нужную импозантность, животом и бесконечными запасами терпения.

А как иначе-то?

Нервы, чай, не казенные. И медикусы, к которым Евстафий Елисеевич обращался редко и с превеликой неохотой, в один голос твердят, что батюшке-воеводе надобно себя побережь. А не то вновь засбоит утомленное сердечко, да очнется от спячки застарелая язва, нажитая еще в те лихие времена, когда рекрут Евсташка жилы на службе рвал, пытаясь выше собственной кучерявой головы прыгнуть. И ведь вышло же! Прыгнул. Выслужился.

Дослужился.

И сам государь, вручая Евстафию Елисеевичу синюю ленту с орденом Драконоборца, ручку жал, говорил любезно, что, дескать, такие люди королевству надобны. Очень эти лестные слова в душу запали... а все почему? Потому, что служил Евстафий Елисеевич не за честь, но за совесть. Злые языки поговаривали, что совести у воеводы даже чересчур много. И самому жить не дает, и другим мешает.

Да разве ж о том речь?

Злым бы языкам в это кресло, из мореного дуба сделанное, телячьей кожей винного колеру обтянутое, кажущееся и надежным и удобным... да на денек-другой посидеть, в бумажках закопавшись, в попытках бесплодных усмирить акторскую вольницу, каковой сам Хельм не брат.

Тогда, глядишь, и примолкли бы.

Тяжко... что в животе — не надо было баловаться расстегаями уличными, но уж больно тяжело давалась Евстафию Елисеевичу диета, супругой прописанная, — что на душе.

День предстоял сложный.

И желая оттянуть неизбежное, маялся Евстафий Елисеевич, натирая мягкой ветошью бюст его величества. Сие занятие успокаивало его еще с той давней поры отрочества, когда Евстафушка, третий сын старшего судейского писаря, оставался надолго в отцовском кабинете. Нет, ныне-то он разумел, что кабинет тот был просто-напросто комнатухой с оконцем под самым потолком, но не было в мире места спокойней. Он любил и это окошко, и арочный потолок, с которого свисали полотняные ленты, пропитанные медовой водицей для привлечения мух и прочего гнуса, ежели таковому случится попасть в полуподвальное помещение, и самих мух, по-осеннему неторопливых, громких, и гладкие канцелярские шкапы, избавленные от виньеток, медных ручек и прочих ненужных кунштюков...

Обычной робости, каковая часто охватывает людей в местах присутственных, Евстафушка не испытывал. Напротив, все-то тут было знакомо. Упорядоченно.

И он радовался этому порядку.

Спешил помогать.

Батюшка же, утомленный работой, снимал очки, протирал их чистым, хоть и латаным платочком и шурился, глядя на сына. Приговаривал:

— Старательность — сие тоже талант. И не след его в себе губить.

Сам он, дослужившийся до старшего писаря, и не помышлял о работе иной. Он жил бумагами и младшим, поздним сыном, так похожим на дорогую Лизаньку. Оттого, глядя на него, и улыбался скупой, сдержанной. И не вязалась эта улыбка с серым цивильным платьем.

Евстафушка же, спеша отца порадовать, пристраивался в уголочке меж стопок со старыми делами, от которых сладко пахло архивной пылью, и делал уроки.

Учиться он любил.

И учителя хвалили Евстафушку не токмо за старательность и прилежность — а как иначе-то? — но и за тихий незлобивый нрав.

Когда же последняя тетрадь отправлялась в портфель, отец кивал и открывал сумку, вытаскивал бутерброды, завернутые в утрешнюю газету. За день она успевала пропитаться маслом, а на белом хлебе оставались черные пятнышки типографской краски, но в жизни не едал Евстафушка ничего вкусней.

...и чай, который приносила Капитолина Арнольдовна, пучеглазая немка, служившая в присутствии судейским секретарем, был всегда крепок, темен и сладок до невозможности. Порой немка оставалась, рассказывая скрипучим хриловатым голосом последние сплетни. Отец охал, качал головой и языком прицокивал... и завидя, что Евстафушка уже расправился и с чаем и с бутербродами, он говорил:

— Иди-ка, сыне, уважь государя.

Казенный бюст в аршин высотой стоял на краю стола, повернутый к двери. И получалось, что каждый посетитель, кому случалось заглянуть в каморку старшего писаря, вставал пред суровым взором его величества Никея Первого.

Государь сиял во многом благодаря ежедневным усилиям, каковые прикладывал Евстафушка, натирая бронзу мелким речным песочком да мягкой ветошью. Особенно ему нравились высокая, солидная лысина и государев массивный нос. А вот в усах застревал песочек. И Евстафушка мечтал крамольно, что однажды Никея Первого сменит иной государь, безусый, начищать которого будет проще, и, мечтая, слушал краем уха голубиное воркование Капитолины Арнольдовны...

Наверное, они бы поженились, поскольку нравилась отцу Капитолина Арнольдовна неспешностью своей, солидностью, не женской какой-то рассудительностью. И Евстафушка был бы рад такой мачехе...

...не срослось. Подвело однажды старшего судейского писаря изношенное сердце. Ушел, оставив пустой стильную съемную квартирку, шкаф с тремя серыми пиджаками, полдюжины носовых платков да чиненое белье, которое по традиции отнесли в храм Иржены-заступницы.

Та давняя смерть и переменяла судьбу Евстафушки, резко лишив его мечты о писарской карьере, но толкнув в объятия вербовщика. Два месяца всего ушло, дабы перекрыть, перетрясти душу, вылепив из вчерашнего гимназиста сначала рекрута Евсташку, а после и младшего актера полицейского управления...

Давно сие было.

И, глядя на орлиный государев профиль, втихаря улыбался Евстафий Елисеевич: сбылась детская мечта, нынешний король был приятно безус.

Успокоившись — многие знали об этой начальственной слабости, которая свидетельствовала не только о расстроенных нервах воеводы, но и о скорых переменах, ожидающих познаньское управление полиции, — Евстафий Елисеевич сдул с высочайшего чела крупницы песка. Его же вместе с тряпичей убрал в ящик стола. Поднялся. Потянулся, чувствуя, как тяжело хрустят старые кости, и снял с полочки телефонный рожок. Как всегда помедлил — ну не любил познаньский воевода технику, внушала она ему не меньшее подозрение, нежели ведьмаковские штуkenции, а всяк знает, сколь опасны они, — но преодолел себя, поднес к губам.

— Ежель Себастьян на месте, — сказал, чувствуя себя преглупо: говорить в коровий рог, пусть и в серебряном солидном окладе... — то пускай зайдет.

Сам же глянул в зеркало, упрятанное за гладкою — а иной мебели Евстафий Елисеевич с детства не признавал — дверцей шкапа, убеждаясь, что нет в его одежде беспорядка. Синий китель, сшитый на заказ, сидит по фигуре, пусть и фигура сия давно потеряла былую стройность. И любезнейшая супруга не единожды намекала, что не мешало бы Евстафию Елисеевичу корсетом пользоваться...

Женщины.

С женщинами в доме было тяжело... четверо дочек, и младшенькой, поздней, названной в честь покойной матушки Лизанькой, только-только семнадцатый годок пошел...

Нахмурился Евстафий Елисеевич, отгоняя неуместные мысли. Попытался настроить себя на беседу, каковая — знал точно — пойдет непросто. И треклятая язва ожила, плеснула болью...

...нет, точно расстегай с порченным мясом был. А ведь предупреждал верный ординарец, что врет бабка про зайчатину, что если мясо чесночным духом исходит, то, стало быть, несвежее... или это от чеснока бурлит?

Хоть бы дурно не стало.

Признаться, подчиненного своего познаньский воевода не то чтобы побаивался, скорее уж смущался премного, под насмешливым взором черных глаз его ощущая себя не кем иным, как писарчуковым сыном, по недоразумению взлетевшим чересчур высоко. И пыжится он, и лезет из мундира, тянется над собственной лысою макушкой, а все одно не станет иным... нет, не стыдился Евстафий Елисеевич происхождения своего простого, но вот... робел.

Сколько уж лет минуло, а все робел.

Смех кому сказать.

Евстафий Елисеевич повернул монарший бюст к окну, пейзаж за ним открывался самый что ни на есть благостный: с аллеей, цветущими каштанами да гуляющими девицами. Конечно, внимательный наблюдатель очень скоро понял бы, что гуляют девицы не просто так, а со смыслом, стараясь друг на дружку не глазеть, а если уж случится пересечься взглядами, то раскланиваются и отворачиваются...

...в последние годы, с той самой поры, как возвели Военную академию, аллею имени героя Пятой Победоносной войны, braveго воеводы, князя Муравьева-Скуратовского, народ переименовал в Девичью. Князь, пожалуй, отнесся бы к подобной вольности без понимания; историки утверждали, что нравом он обладал суровым, резким даже для своих беспокойных времен. Однако Муравьев-Скуратовский давно и благополучно был мертв, а девицы... Что ж тут сделаешь? Евстафий Елисеевич ему от души сочувствовал.

Себе тоже.

А старший актер вновь соизволили опаздывать. Нет, они спешили, но как-то томно,

будто самим фактом этой спешки делая одолжение. Вот хлопнула дверь в приемную. И характерно закрипело кресло, в котором уж второй десяток лет обреталась Аделаида Марковна, дама внушительных достоинств и трепетного сердца... раздались голоса... наверняка, поганец, раскланивался, ручки пухлые целовал, отчего все десять пудов Аделаиды Марковны приходили в волнение...

Евстафий Елисеевич погладил государя по бронзовой маковке.

— Можно? — Дверь распахнулась, и на пороге возник человек, в свое время доставивший немало хлопот что познаньскому воеводе, что всему полицейскому ведомству.

— Заходи, Себастьянушка, присаживайся. — Евстафий Елисеевич старался быть дружелюбным. И улыбкой на улыбку ответил, хотя при виде ненаследного князя Вевельского проклятая язва ожила...

...а все Лизанька с ее блажью.

И супруга, ей потакающая... дуры бабы... а поди ж ты, не справиться... и кому скажи — засмеют, назовут подкаблучником. От мыслей подобных Евстафий Елисеевич вовсе пришел в уныние и язву погладил сквозь китель: мол, погоди, родимая, дай с делами разобраться, а там уж и до тебя черед дойдет. Будет тебя дорогая супружница холить, лелеять да овсяными киселями потчевать...

Язва послушалась.

— Как дела, Себастьянушка? — ласково поинтересовался Евстафий Елисеевич, хотя по довольной физии подчиненного видел, что дела у него, в отличие от начальственных, обстояли превосходно.

Да и то, ему ли быть в печали?

Когда пятнадцать лет тому старший актер Евстафий Елисеевич узнал, кого ему принесло рекрутским набором, всерьез задумался о том, чтобы работу сменить.

Мыслимое ли дело, чтобы в акторах цельный князь ходил?

Пусть и ненаследный?

А ведь хватились-то не сразу... у матушки дела сердечные, то бишь сердце пошаливало, лечения требовало, оттого и отбыла разлюбезная княгиня на родину в компании семейного доктора. Князь же, видать, от расстройства и волнения за супругу увлекся молодой актриской... в общем, успел Себастьян Вевельский закончить трехмесячные курсы подготовки да попасть под распределение...

...ирод. Сидит. Улыбается.

Смотрит прямо.

Ждет, когда заговорит Евстафий Елисеевич. А тот, как назло, не знает, с чего разговор начать. Скользкий он, как и само задание. При мысли о том, что придется просить у князя, Евстафий Елисеевич впадал в хандру, на которую язва откликалась живо.

...и тогда тоже улыбался, глазами сверкал...

— Князь, ваше благородие, — признался сразу, да и как не признаешься, когда матушка в кабинете сидит, платочком надушенным слезы вытирает. И отец тут же, только глядит не на сына, на Евстафия Елисеевича, буде бы он виноват в том, что ихний князь дома не усидел. А тот раскаяние изобразить и не пытался, знал, поганец, что контракт магический одним желанием родительским не разорвать. Ярился Тадеуш Вевельский, грозил всеми карами, плакала княгиня и от чувств избытка в обморок падала, прямо Евстафию Елисеевичу на руки, а ничего-то не добились. Крепок оказался контракт, на крови заключенный, и упрям Себастьян... видать, пороли мало.

Искоса глянув на подчиненного, познанский воевода уверился в правильности поставленного уже тогда диагноза: мало.

Без должного прилежания.

Вот оно и выросло... на беду начальству.

— Себастьянушка... как ты? Оправился? Отдохнул?

— Оправился, Евстафий Елисеевич, — бодро произнес ненаследный князь Вевельский и ногу за ногу закинул этак небрежненько. А на колени хвост положил.

Хорош.

Нет, не хвост, хвост-то аккурат Евстафия Елисеевича смущал зело, что наличием своим — у нормальных людей хвостов не бывает, что видом. Длинный, гибкий и в мелкой этакой рыбьей чешуе. Шевелится, чешуей поблескивает, честный люд в смущение вводит. А этот охальник, прости, Вотан милосердный, знай себе улыбается во всю ширь... зубы-то свои. Небось на аптекарский ряд Себастьян в жизни не заглядывал...

Евстафий Елисеевич потрогал кончиком языка клык, который взял за обыкновение на погоду ныть так долго, муторно. И не помогали ни полоскания в дубовой коре, ни долька чеснока, к запястью примотанная, ни даже свежее сало... драть придется...

— Ох, Себастьянушка, дело предстоит новое... сложное...

Слушает.

Очами черными зыркает, хвост поглаживает...

...ах, Лизанька, Лизанька, дочка младшая, любимая... и матушка твоя, чтоб ей икалось... оно-то девицу понять можно: как устоять перед таким-то красавцем, смуглым да чернявым? Обходительным, что Хельм, по душу явившийся... и тает, тает сердечко девичье.

А матушка, знай, подуськивает.

Мол, хороша партия для Лизаньки. И Евстафий Елисеевич в упрямстве своем мешает дочерину счастью состояться.

Бабы.

Не разумеют, что писарчукова внучка, пусть бы она была хоть трижды воеводиной дочерью, не пара сиятельному шляхтичу. Ну и что, что ненаследный, а все одно — князь...

...дуры.

А он не умней, ежель поддался.

— ...и только тебе одному, Себастьянушка, с ним справиться...

Начальство потело, улыбалось и безбожно льстило.

Это было не к добру.

Себастьян глядел в круглое, будто циркулем вычерченное, лицо Евстафия Елисеевича, мысленно пересчитывая веснушки на его лысине, и преисполнялся дурных предчувствий.

— Дело-то государственной важности, Себастьянушка... по поручению самого генерал-губернатора...

Евстафий Елисеевич тяжело вздохнул.

Мается он в своем шерстяном мундире, застегнутом на все тридцать шесть золоченых пуговиц. И ерзает, ерзает, теребит полосатый платочек, то и дело лоб вытирая. А на Себастьяна избегает глядеть по старой-то привычке, оттого и блуждает взор начальственный по кабинету, каковой, в отличие от многих иных начальственных кабинетов, мал, а обставлен и вовсе скупо. Нет в нем места ни волчьей голове, в моду вошедшей, ни рогам лосиным

развесистым, ни пухлым адвокатским диванчиком для особых посетителей. Скучная мебель, казенная.

И сам Евстафий Елисеевич ей под стать.

Признаться, начальника своего Себастьян побаивался еще с тех давних пор, когда, окончивши краткие полицейские курсы в чине младшего актора, предстал пред светлые очи Евстафия Елисеевича. Был тот моложе на полтора десятка лет, на пару пудов тоньше и без лысины. Позже она проклюнулась в светлых начальственных кудрях этакой соляной пустошью промеж богатых Висловских лугов...

Тогда же старший актер Евстафий Елисеевич нахмурился, завернул в газетку недоеденный бутерброд, который спрятал в потрепанный, потрескавшейся кожи портфельчик, облизал пальцы и, повернув государев бюст лицом к окошку — сия привычка по сей день Себастьяна удивляла, — спросил:

— Актором, значит?

— Так точно! — весело отозвался Себастьян. Он едва не приплясывал от нетерпения. Вот она, новая жизнь, и подвиг где-то рядом, совершив который ненаследный князь прославится в истории или хотя бы на страницах газет. И коварная Малгожата, прочитав статью, всплакнет над несбывшейся жизнью...

...быть может, даже объявится, умолять о прощении будет, плакать и объяснять, что он-де не так все понял. А он объяснения выслушает бесстрастно и спиной повернется, показывая, что мертва она в сердце его. Или что это сердце вовсе окаменело?

В общем, Себастьян еще не решил.

Следует сказать, что учеба пришлась ненаследному по душе, особенно когда он понял, что хвост и дрын — это аргументы куда более понятные новому его окружению, нежели доброе слово, густо приправленное латынью. На латыни сподручно оказалось ругаться.

— И чего ты умеешь? — Евстафий Елисеевич, от которого неуловимо пахло чесноком, разглядывал Себастьяна пристально. И сам себе ответил: — А ничего...

Себастьян обиделся.

Правда, первый же месяц показал, сколь право было начальство.

...и что само это начальство не стоило недооценивать. Тихий, даже робкий с виду Евстафий Елисеевич способен был проявить твердость. Пусть и говорил он мягко, порой смущаясь, краснея, теребя серый суконный рукавчик мундира, но от слов своих не имел обыкновения отказываться.

— Помнишь, Себастьянушка, первое свое серьезное дело? Познаньского душегубца? — вкрадчиво поинтересовалось начальство, отирая платочком пыль с высокого государева лба, на коего дерзновенно опустилась муха. Толстая, синюшная и напрочь лишённая верноподданнических чувств.

— Помню.

Себастьян потрогал шею.

...как не запомнить, когда после этого дела и собственной инициативы, казавшейся единственно возможным шагом, он месяц провел в больничке. И начальство любимое навещало его ежедневно, принося ранние яблоки, сплетни и свежие газеты.

В газетах Себастьяна славили.

...а Евстафий Елисеевич за самодурство, которое репортеры нарекли «инициативой неравнодушного сердцем актора», подзатыльника отвесил. Удавку с шеи снял и отвесил.

А потом еще пощечину...

...что сделаешь, ежели в портфеле старшего актора не нашлось местечка нюхательным солям... но подзатыльник тот запомнился, и пощечина, и злое, брошенное вскользь:

— Только посмей умереть. С того света достану!

И ведь достал бы, смиреннейший Евстафий Елисеевич, не побрезговал бы ни к Вотану-молотобойцу пожаловать, ни в темные чертоги Хельма, ежели оказалось бы, что грехи Себастьяновы напрочь добрые дела перевешивают...

На память о той истории остался ненаследному князю орден и беленький шрам на груди... шрамом Себастьян гордился больше, втайне подозревая за орден и повышением отцовскую крепкую руку...

— Помнишь, значит, — с тяжким вздохом произнес Евстафий Елисеевич, вставая. Совсем дурная примета.

— И как ты тогда... — он замялся, не зная, как сказать, — инициативу проявил...

— Да.

Хмыкнул. Замер, оглаживая бронзового государя по высокому лбу.

— А слышал ли ты, Себастьянушка, про конкурс нонешний?

— Кто ж не слышал?

— И то верно... верно... — Снова вздох, тягостный, и толстые пальцы Евстафия Елисеевича мнут подбородки, которых за последние года три прибавилось. — Кто ж не слышал... Дева-краса... чтоб ее да за косу... срам один... и нам заботы.

Себастьян терпеливо ждал продолжения.

— Патронаж ее величества... и отменить никак не выйдет... но имеются данные, дорогой мой, что нонешним конкурсом воспользуется хольмский агент... агентка, — поправился он, точно опасаясь, что сам Себастьян недопоймет.

Порой ненаследному князю казалось, что для Евстафия Елисеевича он так и остался семнадцатилетним оболтусом, излишне мечтательным и не в меру наивным. Таковым в родительском доме место, а никак не в полицейском управлении, но нет, возится познаньский воевода, душу вкладывает...

...начальство Себастьян любил.

И со всею любовью побаивался.

— Данные верные, и, по словам нашего актора, шансы на успех у нее высоки... — Евстафий Елисеевич прошелся вдоль окна и застыл, устремив взгляд на Девичий бульвар. — Ты ведь лучше иных понимаешь, что есть сей конкурс для девиц...

...шанс на удачное замужество, который при должном умении использовали все. А если с замужеством не ладилось, то времена ныне вольные, некоторым и покровителя хватит, чтобы в жизни устроиться.

...или ненадолго зацепиться на вершине.

— Ко всему, его высочество так некстати расстались с графиней Белозерской. — Уши у Евстафия Елисеевича порозовели. Человек старой закалки, он стеснялся пересказывать дворцовые сплетни, особенно когда касались они королевской семьи.

— И будет искать утешения. — Себастьян озвучил очевидный вывод, избавляя начальство от необходимости произносить подобные, порочащие корону слова вслух. — Или утешительницу.

...и найдет. Кто откажет будущему королю?

Нехорошо.

И вправду нехорошо выходит... ожил, значит, Хольм? Оправился после поражения в

Северной войне? Или дело не в том, но в новом Избранном, который твердою дланью ведет народ хольмский по пути всеобщего процветания...

...Себастьяну доводилось читать и хольмские газеты, весьма отличавшиеся от королевских какой-то нарочитой бодростью, обилием воззваний и портретов Избранного князя.

Случалось встречать и хольмских посланников, суровых темнолицых мужчин, что предпочитали держаться вместе, поглядывая друг на друга искоса, с опаскою. Они рядились в суконные костюмы, сшитые по одному лекалу, а порой, казалось, и по одной мерке, а потому сидящие дурно.

Хольмские женщины, каковым случалось оказаться в королевстве по делам супругов, были молчаливы и некрасивы, причем некрасивы одинаково: одутловаты и болезненны. На людях они разговаривали тихо, заставляя собеседника наклоняться, дабы расслышать сказанное, носили неудобную обувь и глухие платья, сшитые из того же серого сукна.

— Не спеши, Себастьянушка, — сказал Евстафий Елисеевич. И вновь-то он, забавный толстяк, о котором поговаривали, будто бы недолго ему оставалось воеводину булаву держать — Себастьян предпочитал подобные беседы игнорировать, — заглянул в мысли. — Сюда присылают лишь тех, кто... надежен.

Познаньский воевода потер бок, заговаривая язву.

— Присылали. Думаю, скоро многое изменится. Новый Избранный, по слухам, умен... и честолюбив... — Честолюбие Евстафий Елисеевич почитал если не грехом, то уж верно недостатком, каковой и в себе самом, к великому огорчению супруги, пытался искоренить. — Ему спится и видится, что хольмское княжество воспрянет в былом величии... и былых границах.

Тихо это было сказано, с опаскою.

И Себастьян кивнул: понимает, мол. Уж не первую сотню лет тает Хольм, с самой Первой войны, с неудач, с переворота, когда пали Соколиные стяги, сменившись пурпурным полотнищем Хельмова Избранника. И загремели по всему Хольму колокола, возвещая о новом времени.

Отвернулся от опального княжества Вотан-молотобоец.

Отступила Иржена, всеблагая его супруга.

И остался царить над людьми Хельм-злословец, прозванный в Хольме заступником народным. Кому и когда подобная дикая мысль в голову пришла? Неведомо. Да и не было дела королевству Познаньскому до соседа. Собственные бы раны зализать, зарастить. И, замкнув границы, ощериться штыками, заполнить летучей конницей отвоеванный Красин кряж, удержать Гданьск и Велислав, пресечь волнения народовольцев, растревоженных хольмскими идеями.

Железным кулаком удержал Згур Первый королевство.

А сын его, Милослав Понямунчик, расширил границы, потеснив прореженную именем Хельма хольмскую армию. И отошли под руку короны оба берега реки Висловки да две из пяти губерний Северо-Западного края... остальные три тоже ненадолго задержались.

Правда, сколь Себастьян помнил из курса истории, каковой за годы службы крепко повыветрился из памяти — и то дело, к чему актору лишние науки? — хольмский Избранный все ж сумел дать отпор. Схлестнулись за деревушкою Поповцы две силы, две волны, и мертвая Хельмова увязла в живой, королевскими ведьмаками сотворенной, да не погасла...

...переменилась сама и мир вокруг переменяла, перевернула, породивши проклятые Серые земли. Давно это было. Затянулись те раны, и черные, стылые и по летней поре воды Ярдынь-реки легли новой границей... стояла она, нерушимая, не один десяток лет. А в последние годы под рукой нового Избранного князя Хольм ожил, стал поглядывать на запад, припоминая королевству былые обиды.

Евстафий Елисеевич не мешал подчиненному вспоминать; он замер, возложив пятерню на лоб государя, сморщившись не то от язвы, не то от мыслей, терзавших познаньского воеводу.

...а к доктору не пойдет, как ни уговаривай...

...упрямый.

...все-то делает вид, будто из той же бронзы, что и бюст короля, сделан, что не страшны ему ни годы, ни болячки... заговори, враз губы подождет, нахмурится, вид важный напустит, а то и вовсе разобидится и от обиды начнет припоминать недавние Себастьяновы огрехи.

...хоть ты его силой веди на Аптекарскую слободу.

— Нынешняя хольмская разведка — не чета старой. Гольерд ее взрастил... точнее, сам из разведки вышел... — Евстафий Елисеевич говорил медленно, тщательно подбирая слова. — И хитер, Хельмов Избранник... хитер... за прошлый год неожиданно померли пять сопровителей из дюжины... с кем-то заворот кишок приключился...

...слышал Себастьян и об этом, хотя не особо интересовался политикой.

— ...кто виноградкой подавился... еще один вдруг в ванне утоп. Великое несчастье было. — Евстафий Елисеевич говорил о том серьезно, без тени улыбки. — На три дня траур объявили. Не вспомнили, что утопший дурно о князе отзывался да подзуживал к смуте... жаль... много денег на него ушло.

И это не было новостью.

Хольмовы сопровитатели грызлись между собой, как кобели на собачьей свадьбе. И кормились они не только Хельмовыми милостями, но не брезговали брать скромные подарки от друзей, что с запада, что с востока... небось Казарский каганат немало золота влил в жилы Хольмского княжества в надежде, что переломит оно монополию королевского флота в южных морях.

...а королевство Познаньское платит за внимание к восточным рубежам, к нестабильной Хельерской губернии, на которую давненько каганат зарится...

Нет, все ж политика — дурное дело.

От нее голова болит.

— Тяжко, Себастьянушка, — пожаловался Евстафий Елисеевич. — Ладно, когда они промеж собой грызлись, нам оно только на руку было. Но князю удалось сопровителей осадить. И смирнехонько сидят, Хельмовы дети, вздохнуть лишний раз боятся. А народец Избранного славит, разве что не молится... а может, и молится. Там давно уже не понять, кому, Хельму или князьям, храмы строят...

...слышал Себастьян, что в каждом черном храме над алтарями висят портреты Избранных. И жрецы, скрывающие лица за стальными масками, — не люди то, но лишь Голоса, одинаково кровь на жертвенники плещут, что Хельму, что слугам его... нет, темные это земли — Хольмское княжество.

— Главное, что нам они мешать стали. Небось знаешь про скандал с князем Гершницем?

— Знаю. — Себастьян откинулся на спинку кресла, к слову, казенного, неудобного.

Спиной сквозь тонкую ткань мундира — крой-то установленный, но сукно шерстяное тонкое, да и портной собственный, княжий, доверием обласканный, — чувствовал и изгиб дерева, и твердые шляпки гвоздей.

Порой ему казалось, что мебель в присутственных местах делали сугубо для того, чтобы человек обычный, каковому случилось заглянуть в подобное место по некой своей человеческой надобности, не приведи Вотан, не ощутил себя хоть сколько-нибудь комфортно. Глядишь, и повадится ходить, отвлекать мелкими пустыми вопросами людей занятых. И на страже государственных интересов стоят такие вот пыточные кресла, узенькие диванчики с гладкими полированными сидушками и низкими спинками, да массивные шкапы, что кренятся, грозясь обрушиться на голову нерадивого просителя пропыленные тома...

В приемной князя Гершница стояли кокетливые козетки, обтянутые гобеленовой тканью, каковая только-только в моду вошла, и солидный секретер из розового дерева, и стол с медальонами, и зеркало имелось в золоченой раме...

Откуда?

Нажил. И отнюдь не с родового имения, каковое до недавнего времени пребывало в упадке. Да и то, много ли возьмешь с двух деревенок и старой мануфактуры?

Себастьян нахмурился, силясь вспомнить, какие ходили слухи?

Взятки?

Так разве ж это повод достойного человека кресла лишить? Берут все. Кто золотом, кто козетками... нет, не во взятках дело, а в планах военного ведомства, при котором имел несчастье обретаться проворовавшийся князь.

— Гершниц собирался продать планы «Победоносного».

Евстафий Елисеевич вновь погладил государев бюст, находя в прикосновении к монаршьему челу немалое для себя утешение.

— Он сознался... правда, сознаваясь, помер. Не рассчитали, что сердце у князя слабое...

Себастьян кивнул.

И жесткие гвоздики, шляпки которых впивались в спину, больше не казались неприятностью.

«Победоносный».

Монитор, построенный по новому проекту и лишь год, как сошедший со стапелей. Закованный в броню, неторопливый и надежный, как Вотанов молот, возглавил он Южный государев флот. О «Победоносном» пели газеты, предрекая монитору славное будущее. И милитаристы, было притихшие, вновь заговорили о том, что Южное море — не так и велико, что многовато в нем и каганатских плоскодонок, которые через одну — пиратские, и неторопливых стареющих кораблей Хольмского княжества... что, дескать, монополия — оно всяк выгодней, и достаточно одного, но прицельного удара, дабы пал непримиримый Сельбир, единственный хольмский порт...

— Себастьянушка, — к Евстафию Елисеевичу вернулось прежнее его обличье: нерадивого, смешного толстячка, вечно потеющего, страдающего одышкой и язвою, что, впрочем, было правдой, — ты же понимаешь, что...

Толстячок взмахнул рукой, отгоняя от бронзового государя толстую муху.

— Конечно, Евстафий Елисеевич, понимаю.

— Поначалу-то полагали, будто бы князь по собственному почину действовал... хольмца, который за покупателя шел, взять не удалось. Фанатик. Ушел к Хельму, ну туда ему и дорога. Однако же выяснилось, что князь свел знакомство с некою вдовой, особой молодой

и весьма очаровательной, легкого нрава. Влюбился, как юнец, взятки стал брать... нет, он и прежде-то не отказывался, но меру знал. А тут вдруг проворовался вчистую... вот тогда-то и появился некто с наивыгоднейшим предложением. Князь передает чертежи «Победоносного», а взамен получает доступ к счету... пятьсот тысяч злотней, Себастьянушка.

Сумма была внушительной. И Себастьян, пожалуй, лучше Евстафия Елисеевича, никогда-то дел с подобными деньгами не имевшего, представлял, насколько она велика. Опальному князю хватило бы надолго...

— И вот стали сией прелестницей интересоваться, а она возьми да исчезни, будто ее вовсе не было...

— Подозрительно.

— Еще как подозрительно, — согласилось начальство. — А самое интересное, Себастьянушка, что никто-то ее толком и описать не сподобился. Помнят людишки, что красива... а как красива? Князь и тот, уж на что упирался поначалу, твердил, дескать, непричастна пассива его к грехопадению...

И этакая самоотверженность, как подозревал Себастьян, была не в характере старого мздоимца.

— ...потом все ж склонили его к сотрудничеству... а он, окаянный, ничего-то толком сказать не способен. Не то блондинка, не то брюнетка, а может, и вовсе рыжая... с глазами зелеными. Или синими. Или черными, вот как твои... полновата? Худоцава?

Дерьмово.

Хвост дернулся, чуял он недоброе, и это самое хвостовое чутье заставило Себастьяна замереть. Он и моргать-то почти прекратил, уставившись на начальство немигающим внимательным взглядом, от которого Евстафий Елисеевич пришел в немалое волнение.

— Ведьмака, конечно, пригласили, — румянясь, сказал познаньский воевода. — И тот сказал, что память князю подтерли...

— А восстановить?

— Правильно мыслишь, Себастьянушка. Послали за Стариком...

...Аврелий Яковлевич и вправду был немолод, чай, еще Северную войну запомнил. С возрастом он не растерял ни здоровья, ни крепости разума, однако же прожитые годы сделали его редкостным мизантропом.

— ...а пока уговаривали, князь возьми да скончайся.

— Своевременно. — Себастьян сцепил пальцы, и косточки хрустнули, отчего Евстафий Елисеевич передернулся.

— Своевременно, — сказал он, этак нехорошо улыбаясь. — Но наш Старик и мертвого разговорит...

...все-таки правду баяли, что баловался Аврелий Яковлевич некромантией. Исключительно в служебных целях, конечно...

— ...с князя-то толку не было, а вот хольмский связной — тот полезен оказался. С него-то и выловили этот интерес к конкурсу...

Евстафий Елисеевич опустил в кресло.

— Теперь-то понимаешь, дорогой мой, до чего же все погано?

Себастьян понимал.

...хольмская авантюристка на конкурсе красоты? С шансом привлечь внимание самого наследного принца? А если не его, то... целей полно.

— Почему мы? — Себастьян Вевельский умел делать выводы и собственные ему не понравились.

— А потому, Себастьянушка, — ответствовало начальство ласковым голосом, — что уж больно своевременно у князя сердечко остановилось. Да и хольмца кто-то предупредил, а ведь операцию проводили тихо, сам, чай, понимаешь, чем дело пахнет...

...ну уж не ванильными пирожными из кондитерской мадам Крюшо.

— Сам генерал-губернатор, Себастьянушка, нас доверием облек...

Палец, устремленный в потолок, и тяжкий вздох воеводы познаньского говорили, что обошелся бы он и без такого доверия, за которое после втройне спросится.

— Конкурс не отменяют?

— Никак нет, Себастьянушка. — Толстые пальцы сплелись под подбородком. — Сам понимаешь, что сие событие не только культурное, но и политическое. Да и то, что толку отменять? Ежели этой шайдре надобно во дворец пробраться, то проберется...

Тоже верно.

— Пуцай уж действует по старому плану... а мы приглядимся... приценимся... авось и учуем чего.

...Себастьян совершенно точно знал, кому именно предстоит приглядываться, прицениваться и учуять.

— И что мы знаем? — в тон начальству поинтересовался он.

Евстафий Елисеевич потер подбородок. Он, в отличие от многих цивильных лиц, еще с давних пор склонных отращивать бороды, брился старательно. И немногие знали, что старательность сия происходит единственно от того, что борода у познаньского воеводы росла редкая, кучерявая, да и вовсе несолидного морковно-красного колеру. Этой своей особенности Евстафий Елисеевич стеснялся едва ли не больше, чем простоватых манер и неумения красиво говорить.

— А ничего-то мы и не знаем, чтобы наверняка... но предполагаем... — Он погладил стол казенной неприметной породы, как и вся прочая мебель в кабинете. — Она, несомненно, умна. И одарена магически, поскольку вряд ли повсюду таскала за собой кого-то, кто бы чистил людям память...

— Или амулетик имеет...

— Или амулетик, — принял возражение Евстафий Елисеевич. — Но амулетик, Себастьянушка, дело ненадежное. Для малого он годен, а вот князю память чистили профессионально...

— И то и другое?

— Пожалуй... да, пожалуй... на каждого тратиться не станешь. Для случайных знакомцев личину прикрыть амулетиком, а вот уже людишками близкими сама занялась. Но хитра паскудина, если от разведки ушла...

...Евстафий Елисеевич не хотел вслух говорить то, о чем оба с Себастьяном подумали: не сама ушла хольмская девица. Помогли ей.

Намекнули, куда князь пропал... вот и успела.

Плохо.

— Хладнокровна, — продолжил познаньский воевода. — Личную горничную сама зачистила и так, что даже Аврелий Яковлевич с нее не поимел... Нехорошая женщина, опасная, Себастьянушка.

Он нахмурился и потер сложенными пальцами переносицу.

— Ты уж аккуратней там... ежели почует опасность, убьет, глазом не моргнув.

Это Себастьян понимал и без объяснений.

— А самое поганое знаешь что?

— Нет.

Евстафий Елисеевич кивнул, словно не ожидал другого ответа:

— Из наших она, Себастьянушка...

— Что?!

В хольмскую колдовку удивительной силы князь Вевельский еще готов был поверить, но чтобы своя же... и на Хольм работала...

— Сам посуди, — примиряюще произнес познаньский воевода. — Отбор-то на конкурс строгий. Разведка наша едва ли не под мелкоскопом каждую девицу просматривает. И тут одной крысы в ведомстве мало будет, чтобы пройти, а тому, что в разведке целую крысятню развели, я не поверю... нет, Себастьянушка, не стали бы хольмцы рисковать на такой мелочи. По-крупному играют. И значит, наша она. Тут родилась. Тут росла... и где-то с хольмцами снюхалась...

— Почему?

— А мне ж откуда то знать, Себастьянушка? Может, денег хотела. Такие акторки на вес золота ценятся. А может, идейная, из тех, которые Хельму кланяются... или на его величество обижена... мало ли причин. Поймаешь, тогда и спросим.

Евстафий Елисеевич улыбался робко, стеснительно.

А ведь не сомневается, что возьмет Себастьян эту нехольмскую тварь... и ведь возьмет, иначе и невозможно. Не случилось еще с ненаследным князем Вевельским такого конфуза, чтобы задание невыполненным осталось.

Познаньский воевода загадочно молчал, и Себастьян не торопил начальство, зная за ним привычку долго и мучительно подбирать слова, пытаясь скрыть косноязычие, давным-давно существовавшее единственно в воображении Евстафия Елисеевича.

Знал, скажет все, что должно.

Но молчание затягивалось, познаньский воевода смурнел и на государя поглядывал, точно ожидая поддержки. Себастьян ерзал.

И решил:

— Что с легендой?

Мысленно перебрал подходящие должности... охранник? Туповатый, медлительный, но дружелюбный. К такому быстро привыкнут...

...лакей?

Шкуру лакея Себастьян недолюбливал, все-таки не выходило у него должным образом угодничать, и тот единственный раз, когда пришлось играть слугу, ненаследный князь Вевельский едва не провалил задание.

Нет, не пойдет. Акторка подобного уровня фальшь почует издали.

...помощник штатного ведьмака?

...организатор?

...подсобный человечек?

...или бездельник, богатый, хорошего рода, но бестолковый, а потому к государственной службе непригодный. Небось вокруг конкурсанток подобные бездельники роиться станут... да, пожалуй, самая удобная маска...

— Легенда... — замялся Евстафий Елисеевич, пощипывая все три свои подбородка,

которые раскраснелись. — Ты, Себастьянушка, только не серчай... красавицей будешь.

— Кем?!

Сперва Себастьяну показалось, что он ослышался, пусть бы прежде и не жаловался он на проблемы со слухом, но мало ли... начальство оговорилось...

— Красавицей, — познаньский воевода повторил медленно и разборчиво, — сиречь, конкурсанткой.

— Но я ж...

Евстафий Елисеевич руки вскинул, предупреждая возражения:

— Себастьянушка, подумай... она ж не дура, чай. И понимает, что на таких мероприятиях без акторов никак. Она со всеми мужиками настороже будет, просто на всякий случай. А вот конкурсантки — дело другое... тут и слабину дать можно. Сам же знаешь, что невозможно маску без продыху носить...

Нет, в словах Евстафия Елисеевича имелся определенный резон.

Но конкурсанткой...

— Да и подойти тебе надо так близенько, чтобы если не заглянуть под масочку, то узнать, чем каждая из красавиц дышит...

— Евстафий Елисеевич! — Себастьян привстал, опираясь на край стола. — Мне тут показалось, что вы забыли одно... немаловажное обстоятельство.

— Какое, Себастьянушка?

Начальство смотрело ласково. Можно сказать, с любовью...

— Я не девица...

...и с удивлением. Рыжеватые бровки Евстафия Елисеевича приподнялись, а следом и высокий лоб складочками пошел, и даже будто бы лысина.

— Я... конечно, способен менять внешность... — Себастьян говорил медленно, и только кончик хвоста цокал по серым папочкам этак раздражающе.

Но начальство раздражаться не спешило. Слушало.

Благосклонно.

С отеческим укором в очах. И с печалью. Тоже отеческой, надо полагать.

— ...но не настолько радикально! Я эту маску и полчаса не удержу.

Выдохнул.

Хвост убрал и взгляд долу опустил, выражая полнейшее смирение.

Конкурсанткой?

Да ни в жизни!

— А если поможем? — поинтересовался Евстафий Елисеевич вкрадчиво. И ручки пухлые сложил на животе, не то язву прикрывая, не то просто солидности ради.

— И чем же вы мне, уж простите, поможете?

— Всем, Себастьянушка... видишь ли, дорогой, Старик наш очень оскорбился. Он ехал, спешил, дела позабросив, а князь возьми да и помри. Нехорошо вышло. Аврелий Яковлевич сие как личную обиду воспринял.

Себастьяна передернуло.

Со старейшим ведьмаком королевства Познаньского он встречался лишь единожды, и воспоминания от встречи остались не самые приятные.

— Он же о тебе и вспомнил... и о той истории с душегубцем... ты ж тогда девицей прикинулся...

...на свою голову, шею и кишки, которые пострадали более всего.

И ладно бы только собственные.

— Евстафий Елисеевич, — с должной долей почтения произнес Себастьян, верноподданнически заглядывая в светлые начальственные очи, — так я ведь только лицо менял...

...и то силенок на это ушло немерено. Одно дело слегка черты подправить, нос там сделать шире или тоньше, щеки, скулы, и совсем другое — наново себя перекроить, чтоб не только мышцы, но и кости поплавило. Нет, тот свой давний опыт Себастьян вспоминал с содроганием.

И не только шрам был тому виной.

— Не переживай, Себастьянушка. — Рука познаньского воеводы накрыла ладонь Себастьяна, сжала крепко. — Все сделаем. Будешь ты у нас девицей-красавицей, конкуренткам на зависть.

— Нет.

— Да, Себастьянушка, да...

— Вы смерти моей хотите?!

Вырвать руку не получилось. Пухлые пальчики Евстафия Елисеевича недаром уж десятый год удерживали булаву воеводы...

— Не надо упрячиться. Ты ж сам понимаешь, что выбора у тебя нету... контракт, чай, подписал? Подписал. Кровью государю служить поклялся, а теперь дуришь.

— Евстафий Елисеевич!

— Что, Себастьянушка? — участливо поинтересовалось начальство, руку отпуская. — Ты не горячись, родной. Сам подумай...

Думал.

Напряженно, так, что спина зачесалась, на сей раз не от гвоздиков, но от пробивавшихся крыльев, которые демонстрировать Евстафию Елисеевичу было не с руки. Его и так хвост нервирует.

Хвост!

— А... — Себастьян положил аргумент на стол, и чешуя поспешила приобрести оттенок мореного дуба. — А хвост? От него при всем моем желании избавиться не выйдет.

— Что ты, дорогой, — всплеснул ручками познаньский воевода. — Хвост красоте не помеха! Под юбками спрячешь... ты убери-то, убери...

Он сам сдвинул хвост, взявшись осторожно, двумя пальчиками.

— Остальное я тоже под юбками спрячу? — мрачней, поинтересовался Себастьян.

Он вдруг ясно осознал, что отвертеться не выйдет. И дело даже не в самом Евстафии Елисеевиче, который, верно, осознавал, в сколь непростое положение ставит подчиненного, но в том самом высочайшем доверии, обмануть которое было невозможно.

А еще в контракте, заключенном на крови уже не по надобности — родители давно смирились, — но по традиции... вот эта традиция и аукается, чтоб ей...

...попробуешь отказаться — все одно заставят, но отказ припомнят, пусть и не сразу...

...и не только Себастьяну...

...небось Евстафий Елисеевич многим поперек горла стоит со своей принципиальностью, совестью и происхождением. Нет, сам-то он никогда не скажет, не намекнет даже; но Себастьян небось взрослый и без намеков понимает.

Познаньский воевода вздохнул и с упреком произнес:

— Себастьянушка, неужто ты Старику не доверяешь? Сделает все в лучшем виде...

Главное, чтобы он потом этот «лучший» вид к исходному привел. А то ведь шуточки у старого мизантропа нехорошие...

— Не кручинься, Себастьянушка. Взгляни на это дело с другой стороны...

— Это с какой же?

— Месяц в компании первых красавиц королевства... приглядишься, а там, как знать, и жену себе подыщешь...

...вот чего Себастьяну для полного счастья не хватает, так это жены.

— Ты ж у нас парень видный... и девица, чай, не хуже получится... — продолжал увещевать Евстафий Елисеевич.

Оставалась последняя надежда, благо кое-что о конкурсе Себастьян все же знал.

Он поднялся.

И обошел огромный стол.

Евстафий Елисеевич наблюдал за маневрами подопечного с явною опаской, но вопросов не задавал. Себастьян же, покосившись на дверь, точно опасаясь, что признание его станет достоянием общественности — пусть сия общественность и состоит из одной лишь панны секретаря, — произнес пронзительным шепотом:

— Евстафий Елисеевич, я должен вам признаться... — Он стыдливо потупился, и черные длинные ресницы затрепетали. — Есть одно... обстоятельство... которое не позволит мне...

Себастьян говорил низким голосом, с придыханием. Девицы находили эту его манеру весьма волнительной, а вот познаньский воевода отчего-то густо покраснел.

— При всем моем желании... служить короне... — Себастьян испустил пронзительный вздох и, наклонившись к самому уху начальства, прошептал: — Я не девственник.

— Что?!

Евстафий Елисеевич аж подпрыгнул.

— Не девственник я, — покаянно опустил голову ненаследный князь, в данную минуту испытывавший глубочайшее и почти искреннее огорчение данным обстоятельством, — и уже давно.

— Тьфу на тебя! Я уж подумал... — Познаньский воевода прижал руку к сердцу. — А он... выйдет когда-нибудь мне твое баловство боком, Себастьянушка.

— Так какое баловство?

Себастьян Вевельский на всякий случай отступил.

— Ежели вы, Евстафий Елисеевич, запомнили, то конкурс недаром называется «Познаньска дева». Невинность участниц проверять будут. Единорогом. Или и он при нашем ведомстве числится?

Познанский воевода фыркнул и, отерев платочком высокое чело бронзового государя, медленно с явным удовольствием произнес:

— Не волнуйся, Себастьянушка. Девственность мы тебе восстановим.

— Это как?

Ненаследный князь Вевельский подобрался.

На всякий случай.

— Ауры, дорогой мой, ауры... а ты о чем подумал?

Евстафий Елисеевич смотрел с насмешечкой. Весело ему...

— Единороги-то на ауру глядят, так что не бойся, под юбку тебе не полезет... единорог так точно не полезет, за остальных не поручусь.

— Издеваетесь?

— Упреждаю соблазны. А то мало ли... у девиц во дворце соблазнов хватает. — Он потер залысину и иным, человеческим тоном попросил: — Ты уж там сделай милость... пригляди за моею Лизанькой?

— И она?

Себастьян присел на краешек стула.

— И она... всю душу с матушкой своей выели... красавица же, — с затаенной гордостью произнес Евстафий Елисеевич. — И не хотел пускать, а... не пусти — слухи пойдут. Внимание. И ведь, окаянные, до его превосходительства с просьбами дошли... А генерал-губернатор и велели... мол, все одно вас больше обычного будет.

— Насколько больше?

— Считай сам, Себастьянушка. Десятка, которая по отбору прошла...

...от каждого воеводства по красавице.

— Лизанька одиннадцатую... — Сие обстоятельство явно было не по нраву Евстафию Елисеевичу, который, быть может, и сумел бы возразить супружнице, но уж никак не генерал-губернатору, каковой самому королю двоюродным братом приходился. — Двенадцатую — Алантриэль Лютиниэлевна Ясноокая... ее матушка спонсорство конкурсу оказала... ну а тринадцатую — ты...

Тринадцать.

Хельмова дюжина красавиц, чтоб ее!

— Так что, Себастьянушка, — поинтересовался Евстафий Елисеевич. — Пойдешь с прототипом знакомиться?

Можно подумать, у него выбор есть.

Себастьян мрачно кивнул...

...прототип поселили в гостинице «Зависловка», давно уже облюбованной полицейским ведомством. Здесь, в почти по-казенному бедных номерах, панночка Белопольска гляделась вполне естественно. Следовало признать, что была она чудо до чего хороша, и красоты ее не портило ни дрянного кроя явно перешитое чесучовое платье, ни шляпка, щедро украшенная тряпичными маками. Шляпке этой, как и макам, исполнился не первый год, а потому лепестки их выцвели, а ленты обтрепались.

— Ой, представляете, а тут мне она и пишет! И дядечка еще так удивился, сказал, что она никогда-то нашу семью не любила, а тут пишет...

Панночке Тиане шляпка очень нравилась.

И номера.

И собеседник, который, правда, говорил очень мало, зато слушал внимательно. Даже за ручку взял и в глаза заглянул со значением. Нет, панночка Белопольска хоть и была провинциалкою, но не была дурой, что бы там ни утверждала дядечкина супружница... и понимает, что от этих взглядов никакого вреда... она ж не на сеновал идти собирается. Вот если бы на сеновал пригласили, то она б отказалась!

А номера...

...и тем более что господин в полиции служит... конечно, она понимает все распрекрасно... в Познаньске все полицейские такие обходительные? А то прям оторопь берет...

— Евстафий Елисеевич, — прохрипел Себастьян, когда девица все же замолчала и удалилась по своей девичьей надобности в комнату смежную, с изображением ночного

горшка на двери, — вы за что меня ненавидите? Она... она же дура!

— Ну... у всех есть свои недостатки. — Познаньский воевода отер вспотевший лоб. — Зато красивая... и рода подходящего... и кандидатура на самом верху согласована.

— А она? Если она...

— Ближайшие два месяца панночка Тиана проведет в очень уединенном поместье...

...надо полагать, принадлежащем той самой престарелой родственнице, которая неожиданно — явно не без подсказки генерал-губернатора — вспомнила о троюродной внучатой племяннице...

Себастьян потер переносицу, чувствуя, что еще немного, и он сорвется.

— Евстафий Елисеевич... вы же понимаете, что я не только внешность беру и...

— Понимаю, дорогой. Потерпи уж. — Познаньский воевода вздохнул и похлопал Себастьяна по плечу. — Оно, может, и к лучшему, что дура... дуры не испугаются... ты, главное, себя за нею не потеряй.

И этот совет был частью давнего и известного лишь им двоим ритуала.

Как и мягкое:

— Ты уж поосторожней там, Себастьянушка.

Глава 4, в которой речь идет о превратностях судьбы и службы

Капитан знает все. Но крысы знают больше.

*Наблюдение, озвученное в таверне «Морская крыса»
старым боцманом, сменившим на своем веку три корабля и
семерых капитанов*

Гавел Пантелеймончик дремал в кустах сирени. Она наполняла тревожные сны Гавела тягучим ароматом, заставляя вздрагивать и крепче сжимать корпус старой камеры. Она давно нуждалась в починке, и собственное, Гавела, руководство не единожды намекало, что не след пренебрегать достижениями науки. Небось новые «Никонсоны» изображение дают четкое, дальностью обладают немалой, да и крепкие, что немаловажно для крысятника. Однако Гавел упорно хранил верность старенькой, купленной с первого гонорару еще «Канюше».

Он вздохнул, прижал нагревшийся корпус к щеке и губы вытянул.

Снилась Гавелу прекрасная Лизанька, младшая дочь познаньского воеводы. И во сне Лизанька шурилась, улыбалась, кокетничая, и тянула белы рученьки к нему, к Гавелу, разглядев его тень по-за широкими плечами ненаследного князя. Надо сказать, что во сне Гавела присутствовал и он, мешаясь объясниться с Лизанькой. А ведь в кои-то веки покинуло Гавела обычное его смущение.

И заикание.

И не краснел он, стесняясь мятой своей одежонки, неуклюжести своей, никчемности.

— Вон пошел, — сказал Гавел ненаследному князю, а тот, вместо того чтобы исчезнуть покорно — нечего по чужим снам шляться, — раскрыл красный коленкоровый рот и зашипел.

Тьфу.

И примерещится же такое!

Не князь, но полосатый матерый кошка вперил в Гавела желтые глазища. Скалился. Шерсть дыбил. И шипел, этак характерно, с завываниями, видать, конкурента почуял.

— Брысь, — чуть уверенней сказал Гавел, отползая в кусты.

Надо же, задремал, разморило яркое весеннее солнышко... эх, скажи кому, не поверят... а если поверят, то призадумаются, не постарел ли старый «крысятник», не утратил ли хватку...

Кошак спрыгнул на траву и, задрвав хвост, удалился. Ступал он гордо, точно князь.

При мысли о князе настроение вконец испортилось. Нет, нельзя сказать, чтобы Гавел, бессменный «крысятник», не раз и не два приносивший родному «Охальнику» свежайшие сплетни, недолюбливал князя Вевельского.

Хотя да, и недолюбливал тоже.

Он потянулся, чувствуя, как ноет поясница. И плечи затекли. И ноги. И шея и даже голова... и вот когда и кем так заведено, что одному — в кабинете сидеть, а другому — под окнами караулить?

Вздыхнул Гавел, погладив обшарпанный бок верной камеры.

Ею он сделал первый удачный снимок, еще не князя — наследника и княжича Себастьяна Вевельского, о котором в свете ходили самые престранные слухи. Недаром же родители спрятали наследничка в родовом поместье, мол, здоровье у младенчика слабое... ничего, нашел Гавел, пробрался, сумел моментец удачный поймать; хотя после выхода газетенки в свет и бит был неизвестными. Зато снимок горбатого хвостатого уродца принес Гавелу законное место в штате «Охальника», сомнительного толка славу и деньги.

Правда, задержались они ненадолго... старуха, чтоб ей пусто было, никогда-то с деньгами управляться не умела. Только и ныла, все ей мало, все...

...сорок злотней просадила в три дня.

И еще претензию предъявила, мол, у других сыновья почтительные да при чинах, один Гавел в грязи копается.

Как есть в грязи.

Он и привык уже, притерпелся. Иная грязь вон и лечебной зовется...

Но все ж таки, видать, нынешний день был чересчур уж весенним, ясным, оттого и мысли лезли в голову нехарактерные. Опасные мыслишки... и обида застарелая голову подняла, расцвела колючим репейником. Как возможно такое, что одним — все, а другим — ничего?

Почему Себастьяну суждено было князем родиться, а Гавелу — шестым и единственным выжившим сыном мелкого купца, вконец разорившегося?

Несправедливо!

И несправедливость толкала Гавела подобраться ближе. За прошедшие годы он сроднился с князем, который если и догадывался о существовании Гавела, то с княжьей небрежностью допускал себе его не замечать. И это тоже было оскорбительно. Небось иные клиенты, Гавела заприметив, начинали кричать, а порой и спускали охрану... а этот... смеялся только.

Однажды и пятеркой злотней пожаловал за статейку о собственных похождениях, мол, написано живо, занимательно. Князь присоветовал даже сочинительством заняться, мол, за это всяк больше заплатит, чем за пересказ сплетен.

Издевался, сволочь хвостатая.

А сирень ныне цвела пышно, поднимаясь до самых окон кабинета, в котором скрывался познаньский воевода. Сам по себе он был человеком скучным, в плане сплетен совершенно бесперспективным, чего не скажешь о старшем актере...

...зависть?

А хоть бы и так. Да и то, разве мало поводов?

Себастьян Вевельский был богат.

А Гавел каждый медень считал...

Себастьян Вевельский был любим.

А Гавела отовсюду гнали, точно пса лишайного...

Себастьян Вевельский мог получить любую женщину, взгляда хватало, а Гавел...

...он вздохнул, изгоняя из сердца образ Лизаньки. К чему пустые мечтания? Опасное это дело... болезненное. И сердце растревоженное разнылось. Лизанька, Лизанька, пресветлое создание... никак сама Иржена-заступница поставила тебя на пути Гавела, дабы задумался, окаянный, о жизни своей.

Он и задумался.

Дрянной выходила жизнь... что у него есть? Конура на улице Пекарей, дешевая, под самую крышей. И когда по весне голуби ворковать начинают, то сквозь крышу слышно и воркование, и цокот голубиных коготков, и хриплые кошачьи вопли. От воплей просыпается старуха, которую Гавел и в мыслях своих матерью не называет. Она сползает с кровати и тянется за палкою...

— Гавел! — кричит и палкою по стене лупит. — Ты где, песий потрох?

Старуха требует зеркало.

И парчовый халат, коими забит старый шкаф. Собственная гавеловская одежонка, купленная в Портновском квартале за пару медней — невзрачная, зато прочная и стирать легко, — ютится в коробке под кроватью. А кровать — в темном углу, за ширмочкой, чтоб видом своим Гавел не смущал старушечьего взора. Взор у ней острый. И нюх на деньги... сколько Гавел ни прятал — всегда находила. А найти не сумея, принималась ныть, причитать, скандалить... и, главное, ведь чуяла, когда есть у него сребень-другой в заначке...

...и ныне потребовала лавандового мыла купить, да не дешевого, а из лавки Соболевского. Страшно подумать, сколько за него запросят. К мылу же полотенчико новое нужно. И крем для лица на норочьем жиру, средство, чтобы седину закрасить... воск для волос.

Перечень, написанный аккуратным старушечьим почерком, лежал в кармане Гавела, самым своим наличием ввергая в тоску. Попробуй не принеси или купи иное что, подешевле. Вой будет стоять на весь дом... а их и так грозились выгнать... и куда идти?

Некуда.

Никому-то, помимо начальства своего, он, Гавел, не нужен. Да и начальство ценит, лишь пока носит Гавел ему крупницы сплетен свежайших, тиражи поднимает. И носит и чувствует, что подпирают сзади молодые да ранние, жадные до чужой славы.

Беспринципные.

Смешно, конечно, о принципах заговаривать, но были они у Гавела. Разве ж сказал он слово о той барышне, в затруднительную ситуацию попавшей? И ведь племянница самого генерал-губернатора, который громко о падении нравов говорит... знатный скандал бы вышел. И никто б не поверил, что дурочка шестнадцатилетняя на афериста нарвалась, поверила в сказку о любви...

...ни словом не обмолвился о той истории Гавел.

И Себастьян Вевельский, девицу в родные пенаты доставивший, промолчал. Сия общая тайна, сроднившая Гавела с ненаследным князем, грела душу.

...а вот Агашка, тот бы шанса не упустил...

И не упустит.

Стареет Гавел. Его камера немало боевых шрамов носит, и наступит время, когда подвинут его... куда тогда идти? Разве что и вправду в сочинители. Да много ли насочиняешь, когда стенает под ухом безумная старушенция о загубленной своей жизни, о молодости, о старости никчемной...

Жалко себя стало, просто таки до слез... Гавел-то до ее годков навряд ли доживет. Сколько раз его учили? Порой после выхода номера, а бывало, что и так, на всякий случай, силясь упредить скандал. Бывало, и ребра ломали, и почки отбивали, и прочее нутро, да так, что лежа лежал Гавел, едино желая сдохнуть сей же час. А сколько ночей он провел в кустах ли, в канавах, под снегом и дождем, дожидаясь того самого снимка, который...

...уйдет на притирания.

Или байковые тапочки с золотой каймой. Шубу лисью. Только-только расплатился, а она уже новую требует, мол, кости старые болят. Только уже лисою не обойдется, норку подавай... а то и вовсе соболей... и ведь пока жива — а помирать старуха в ближайшем будущем не собиралась, — не отступится.

— Эй, как вас там? — Нежный голосок весенним ветром ворвался в мрачные мысли Гавела. — Вы сторожите, да?

— Да, — шепотом ответил он, не смея спугнуть прекрасное виденье. Над ним в короне солнечного света возвышалась сама Лизанька, дева полуденных грез.

— И давно сидите? — поинтересовалась она, и Гавел, не смея оскорбить деву ложью, вытащил дрянные часики. Глянул на поблекший циферблат и понял, что и вправду сидит давно. А хуже того — впустую, что при его профессии вовсе недопустимо.

— Третий час уже...

— Печально как, — с сочувствием сказала Лизанька. — Вам, наверное, тяжело приходится...

Никто и никогда не сочувствовал Гавелу.

— А вы... — она замялась, не зная, как облечь в слова просьбу, — не могли бы отойти... ненадолго... видите ли, мне очень нужно с вами поговорить.

И порозовела так стыдливо.

Гавел кивнул.

Поговорить? С ним?

На него, случалось, орали... и кидались с кулаками... собак спускали еще... охрану... охрану с собаками вместе... и швыряли чем ни попадя... правда, попадали, как правило, вещицы пустые, но однажды прилетел золотой с рубинами портсигар, который Гавел счел законной добычей.

Но вот говорить...

...и чтобы сама...

Неужели Иржена, заступница сирых да убогих, обратила свой взор милостивый на старого крысятника? И все же робкий голос разума отрезвлял, нашептывая, что сия любезность неспроста. И нет-то в Лизаньке ничего-то необыкновенного: да — юна, да — прекрасна, но Гавелу ли дело до ее красоты?

И из кустов Гавел выбирался в сомнениях, а еще поясница разболелась некстати...

Пахло от Лизаньки тем самым лавандовым мылом, по сребню за махонький кусочек. И небось ее-то волосам краска без надобности, как перья, бусины и прочие ухищрения, столь любимые старухой. Лизанька и с простой косой, короною уложенной, хороша...

Прелестница.

Гавел не смел разглядывать ее, разве что искоса, профессионально подмечая ракурс, при котором сие очаровательное личико утратит томную свою нежность. А опыт подсказывал, что у каждого человечка подобные ракурсы имелись. У одних — больше, у других — меньше. И гавеловская камера в умелых руках находила их столь же верно, как шляхетская шпага прорехи в чужой обороне.

...было время, когда Гавел, еще не погрязший в грязи чужих жизней, думал о себе именно как о рыцаре, пускай не с сияющим мечом, но со старой камерой... а что, разве не вскрывает он доспехи лицемерия, выставляя наизнанку отвратное изъязвленное нутро... чье?

А чье придется.

Точнее, за чье заплатят.

Да, забавное было время. Жаль, что ушло.

— Вы... не откажетесь прогуляться со мной? — поинтересовалась Лизанька, сама отступая. — Видите ли, у меня к вам дело имеется, но...

— Вам бы не хотелось, чтобы нас видели? — Гавел кивнул.

Что ж, он умел становиться незаметным. И знал тысячу мест, где можно было спрятаться от внимательного взгляда, одно из которых находилось неподалеку.

Лизанька следовала молча, в шагах пяти, делая вид, что прогуливается. И кружевной зонтик над ее головой покачивался, и кружевная тень ложилась под ноги, и юбки колыхались, и вся-то она, бледная дева, была ясной, светлой, как несбывшаяся мечта...

Гавел старался идти прямо, но поясница ныла, и колено нехорошо постреливало. Ногу ему сломали за ту историю о супружнице князя Жельколесского и ее любовниках... а ведь чистая правда... Гавел вообще писал чистую правду.

Во всяком случае, старался.

Лизанька старалась не морщиться, до того неприятное впечатление производил человек, которого она собиралась нанять. Невысокий, сутуловатый, какой-то весь скукоженный, и в одежке дрянной бурого колеру.

Он был жалок.

В этих чрезмерно широких штанах, прихваченных узким поясом. В коротком пиджачишке, из-под которого выбивалась серая рубашка. Она пузырем повисала над штанами и хлопала на ветру...

Себастьян никогда не позволял себе выглядеть дурно.

Лизанька вздохнула: на что только ради любви не пойдешь? Даже на сделку с личностью столь ничтожной, как Гавел...

О да, имя своего поклонника она знала прекрасно, как и то, что сей убогий человечиска в нее, Лизаньку, влюблен без памяти. Последнее обстоятельство в Лизанькином представлении не было чем-то удивительным.

Разве не хороша она?

Хороша. Высока, тонка в кости, с талией, которую двумя пальчиками обхватить можно, с грудью высокой. И ноги длинные, хоть под юбками и не видать. И лицо аккуратное, пусть бы сестрицы старшие утверждают, что обыкновенное оно, но то — из зависти. Да, черты простоваты, но зато кожа фарфоровая, белая и волос светлый, а блонд в нынешнем сезоне — это модно, тем паче, когда натуральный. Глаза вот серые. Скучный цвет, папенькиного мундира и его заведения, которое Лизанька втайне недолюбливала.

Дочь воеводы... подумаешь.

Следует сказать, что к своим семнадцати годам Лизанька Евстафиевна пребывала в той счастливой уверенности, что жизнь ее непременно сложится самым расчудесным образом. Уверенность сия в целом была свойственна особам юным и одаренным, а уж Лизанька и вовсе мыслила себя невероятно удачливой. Пусть и не блистала она особыми талантами — с чем бы матушка ее, Данута Збигневна, в корне не согласилась бы, — зато знала, что пришла в этот мир не просто так, но за-ради судьбы исключительной.

Дело в том, что уродилась Лизанька Евстафиевна необыкновенной красавицей. И матушка ее, взяв младенчика на руки, прослезилась от умиления, до того очарователен он был той особой карамельно-сливочною детской красотой, что характерна для

новорожденных.

— Разве ж она не прелестна? — громко и с надрывом вопрошала Данута Збигневна, всем демонстрируя укутанную в кружевные простыни дочь. И все вокруг: и старшие дочери, и супруг, и сестрица троюродная, баба дурная, завистливая, и даже повитуха, перевидавшая на своем веку немало розовых детских попок, соглашались, что Лизанька хороша необыкновенно.

Правда, добавляли, дескать, сия красота — нестойкого свойства.

Из зависти.

На всякий случай Данута Збигневна повязала на дочерину ручку красную нитку, а еще панталонами своими отерла, от сглазу. Помогла ли нитка, панталоны или же сама природа, столь щедро одарившая Лизаньку, но росла она окруженная всеобщей любовью, постепенно привыкая и к ней, и к осознанию собственной исключительности.

— Ах, ее ждет совершенно удивительное будущее, — предсказывала Данута Збигневна, раскидывая карты. Как-никак собственная ее прабабка, коль семейной легенде верить, была настоящей цыганкой. Оттого и мнила себя Данута Збигневна если не предсказательницей, то уж всяко особой, способной истолковать знаки судьбы. И по всему выпадал драгоценной Лизаньке ни много ни мало — червовый король, верный знак удачливого замужества.

На упертую даму треф, наглуую, с лукавым прищуром рисованных глаз, Данута Збигневна старательно не обращала внимания. Только ловкие пальчики воеводиной супруги сами собой подхватывали окаянную карту, норовя засунуть ее в колоду, к шестеркам и прочей мелочи, где разлучнице было самое место. Она же, прячась, при новом раскладе норовила вновь лечь подле белокурого короля...

— Дурной знак, — качала головой завидующая троюродная сестрица, сама-то овдовевшая рано, бездетная и оттого на весь мир разобиженная. — Вот поглядишь, разладит она девке свадьбу.

И костяным длинным ногтем стучала по лбу коварной дамы. А та знай себе улыбается этак презрительно, глаза щурит... Хельмово отродье.

— Посмотрим, — отвечала Данута Збигневна, всерьез подумывая о том, чтобы треклятую даму спалить. А заодно поставить в храме Иржены свечку, да потолще, и цветочный венок купить — на удачу.

Впрочем, в деле замужества на одну удачу рассчитывать не следовало.

И к вопросу будущего Лизанькиного брака Данута Збигневна подошла со всей серьезностью. Раз за разом окидывала она орлиным взором окружение, что свое, что мужа. Он же лишь посмеивался, скучный казенный человек, до самого нутра пропитавшийся канцелярским духом.

— Лизанька выйдет замуж за шляхтича, — однажды заявила Данута Збигневна, разложив на новой, красными петушками расшитой скатерти карты. Упрямую даму треф она заблаговременно выкинула из колоды и из памяти. — Вот посмотришь...

Червовая дама хорошо гляделась рядом с червовым же королем.

Умилительно.

Супруг молчал, глядя, как ловко управляют с колодой женины пальчики. Знал, что не след ей мешать в тонком деле.

— Точно за шляхтича. — Данута Збигневна погладила рисованную корону, и почудилось, как поморщился король. — Быть может, даже за князя...

Она бросила быстрый взгляд на супруга: понял ли намек? Имелся у любезного Евстафия

Елисеевича в подчинении цельный князь... конечно, ненаследный, что, несомненно, минус, но состоятельный и холостой, что, конечно, плюс. Евстафий Елисеевич, уж на что черствая личность, к намекам невосприимчивая, понял, покраснел густо и ущипнул себя за переносицу.

— Дануточка, — сказал он скучным голосом, — Лизаньке еще рано о замужестве думать.

— О замужестве думать никогда не рано, — отрезала Данута Збигневна.

Да, молода ее доченька, кровиночка родная, всего-то тринадцатый годок пошел. Но где тринадцать, там и четырнадцать... и шестнадцать, самый он, невестин возраст.

Главное, чтоб к этому времени перспективного жениха, которого Данута Збигневна в мыслях уже полагала зятем, не увели. Надо ли говорить, что к идее супруги Евстафий Елисеевич отнесся без должного понимания? Он пытался увещевать Дануту Збигневну, рассказывая о вещах глубоко вторичных, навроде социального статуса и собственных карьерных перспектив, каковые, положив руку на сердце, были безрадостны.

Воеводой он стал, а выше... без титула не пустят.

А титул не дадут.

То-то и оно, да и стоит ли его карьера Лизанькиного счастья?

И разве ж многого от него требуют? Сводничать ли? Или же зелье приворотное — была у Дануты Збигневны и подобная идея, воплотить которую она не посмела ввиду полнейшей незаконности, — в чай подливать? Нет, о малом просят: пригласить Себастьянушку на обед... и на ужин... и на именины Лизанькины, раз уж ей шестнадцать исполнилось... и на Ирженин день... на Вотанову неделю в имение, купленное еще батюшкой Дануты Збигневны...

Сколько приглашать?

А столько, сколько понадобится, чтобы разглядел упрямый князь неземную Лизанькину красоту.

Евстафий Елисеевич кряхтел, отворачивался от причитаний супруги, краснел, глядя в серые очи младшей дочери, которая не причитала, но лишь вздыхала и прижимала к очам сим кружевной платочек... и соглашался.

Приглашал.

И не отступал от драгоценного Себастьянушки ни на шаг, будто бы опасался, что навредят ему. А потом еще выговаривал: дескать, ведет себя Лизанька непотребно, на шею вешается. А Данута Збигневна и потекает. Во-первых, не вешалась она, а споткнулась, пускай и на ровном месте. Дурно девочке стало, а Себастьянушка возьми и подхвати ее, сомлевшую, на руки... сразу видно, что князь — человек в высшей степени обходительный. А во-вторых, время нынче такое — вовремя не повиснешь на нужной шее, так всю оставшуюся жизнь и будешь пешком ходить.

И добре, что сама Лизанька распрекрасно сие понимает.

— Простите, нам еще далеко? — Она очаровательно улыбнулась, поудобней перехватив ридикюль. Несмотря на обманчиво малые размеры, сумочка вмещала в себя не только зеркальце, но и Книгу Иржены в серебряном окладе, отрадно увесистую. Не то чтобы Лизанька опасалась провожатого — о нем и батюшка сказывал, что Гавел хоть и сволочь изрядная, но с принципами — однако с книгою чувствовала себя уверенней. Тем паче, что место и вправду было глухим.

В этой части парка, к которой примыкала Девичья аллея, было безлюдно. Если сюда и заглядывали, то коллежские асессоры из близлежащей коллегии в поиске тихого местечка, где можно было бы неторопливо вкусить прихваченный из дому бутерброд. Под вечер здесь объявлялись студенты, коим требовался глухой угол, дабы вкусить отнюдь не бутерброд, но крамольных стишат за сочинительством Демушки Бедного либо же хольмских воззваний, каковые, надо полагать, неплохо заходили под дешевый портвейн и опиумные сигаретки.

За студентами приглядывали канцелярские соглядатаи, которые сами не чурались ни сигареток, ни портвейну, а порой и не брезговали заводить скороспелые романчики с вольнодумными девицами из числа самых благонадежных... Впрочем, в сей ранний час парк, как говорилось, был приятно безлюден.

— Да... — Гавел оглянулся, профессиональным взглядом оценив и панораму и Лизаньку, столь удачно вставшую под развесистым кленом. — Можно и тут.

Он смутился и плечом дернул.

...ах, если бы батюшка не отказался помогать... упрямый он.

— Вы... вы ведь знаете, что скоро состоится конкурс? — Лизанька вооружилась платочком.

В свои шестнадцать с толикой лет она твердо усвоила, что в умелых руках батистовый платочек — смертельное оружие. И даже батюшка — уж на что упрям был — не устоял.

...правда, может, не в платочке дело, а в генерал-губернаторе, к которому маменька обратилась. Она-то за-ради дочериного счастья горы свернет.

Гавел же кивнул и насупился. Обеими руками он держал камеру, и Лизанька не могла отделаться от ощущения, что в нее целятся. Черный глаз камеры глядел пристально...

— И я... так уж получилось, что я буду принимать участие. — Лизанька прижала руки к груди, по мнению батюшки чересчур уж обнаженной, хоть и прикрытой легким кружевным шарфом. — Вы не представляете, чего мне это стоило...

...неделя вздохов и три дня слез.

Отказ от еды.

Упрямое молчание и неизменно скорбное выражение лица, которое, впрочем, на Евстафия Елисеевича действовало плохо. Он держался, как Белая башня под хольмской атакой, сделавшись глухим к просьбам, мольбам и маменькиным уговорам...

...а вот супротив генерал-губернатора не пошел.

— ...и я осознаю, что сие против правил... но вы же понимаете, что я не могу отпустить его одного! — воскликнула Лизанька, смахивая платочком несуществующие слезы.

Гавел кивнул и помрачнел.

— Я... я с детства его люблю!

— Себастьяна? — уточнил Гавел скрипучим голосом, заставившим Лизаньку поморщиться. Мысленно, конечно, мысленно...

— Его... я понимаю, сколь просьба моя необычна, но... я узнала, что Себастьяна отправляют курировать конкурс...

— Что? — Гавел насторожился и подался вперед, сделавшись похожим на старую охотничью собаку, из тех, которых держит дедушка, не столько из любви к охоте, сколько из провинциальной уверенности, будто бы псарни и пролетка — необходимые для состоятельного человека вещи. Воспоминание о дедушке, матушкином отце, человеку суровом, обладавшем состоянием, окладистой бородой и препаскуднейшим нравом, Лизанька решительно отогнала.

После подумается.

— Ах, я не знаю... это все батюшкины дела... секретные...

Гавел подобрался.

— Мне лишь известно, что Себастьян будет на этом конкурсе... работать... под прикрытием...

...естественно, Евстафий Елисеевич не имел дурной привычки посвящать домашних в дела государственные, однако же по наивности своей он полагал, что драгоценная супруга его в достаточной мере благоразумна, дабы не совать нос в мужнины бумаги. И был в общем-то прав...

До государственных тайн Дануте Збигневне не было дела.

А вот до Лизанькиного будущего — было.

— Под прикрытием, — с расстановкой повторил Гавел и прищурился. Глядел он нехорошо, точно выискивал в Лизаньке недостатки.

— Да... и я... я подумала, что должна быть рядом с ним...

Молчит, невозможный человек.

Ждет.

— Там ведь будут женщины... и красивые... возможно, красивей меня. — Это признание далось Лизаньке с немалым трудом. — И как знать, на что они способны, чтобы...

...выйти замуж.

— ...чтобы добиться своего... а Себастьян такой наивный... беззащитный...

Лизанька едва не прослезилась, представив своего жениха, ладно, *почти* своего жениха, в объятиях роковой красавицы...

— Он вас не любит, — мрачней, сказал Гавел.

— Пока не любит, — уточнила Лизанька, испытывая глухое раздражение.

Черствые люди ее окружают, не способные оценить прекрасные порывы юной души... а Лизанька, между прочим, ради князя на клавикордах играть научилась и джем варить яблочный, с корицею...

И даже прочла четыре книги.

Три о любви и четвертую про сто способов добиться желаемого.

— Я... я знаю, что девушка из хорошей семьи не должна вести себя подобным образом... что мне надо бы сидеть и ждать, пока на меня обратят внимание... и смириться, если не обратят... — Сейчас Лизанька говорила почти искренне, подобное положение дел, которое именовалось «хорошим воспитанием», раздражало ее неимоверно. — Но я так не могу...

Гавел кивнул.

...как можно быть настолько безэмоциональным? Зря, что ли, Лизанька распинается?

— Я должна сделать что-то, чтобы он обратил на меня внимание! Чтобы увидел, что я — не ребенок... что люблю его всем сердцем...

В это Лизанька совершенно искренне верила. В конце концов, в кого ей еще влюбляться? В папенькиного ординарца? Он, конечно, молод, но бесперспективен, хотя осторожное, стыдливое даже, внимание его Лизаньке льстит.

Взгляды пылкие.

И букетики незабудок, синей ленточкой перевязанные, которые появляются на столе с молчаливого маменькиного попустительства. Знает Данута Збигневна, что на большее

ординарец не осмелится. Да и Лизанька не столь глупа, чтобы в неподходящего человека влюбиться.

— И чего вы хотите, панна Елизавета? — спросил Гавел, цепляясь за камеру.

— Помощи.

— Какой?

— Вы... вы ведь тоже там будете? — Лизаньку утомили и разговор и человек этот с цепким взглядом... вдруг да и вправду увидел изъян в совершенном Лизанькином образе? — Знаю, что будете... для вас не существует запертых дверей...

...толика лести еще никому не вредила...

— ...папенька говорит, что нет второго такого...

...она запнулась, потому что вряд ли выражение «скользкого ублюдка» подобало случаю.

— ...находчивого репортера, как вы...

Гавел кивнул.

— И я полагаю, что вы сможете... проследить за Себастьяном... вычислить, под какой личиной он скрывается...

Лизанька надеялась, что ей самой достанет наблюдательности. Ну, или любящее сердце, на которое она рассчитывала куда меньше, нежели на маменькино умение забираться в сейф Евстафия Елисеевича, подскажет.

— ...и дать мне знак...

— И что взамен?

Корыстный человек. Впрочем, Лизанька не надеялась, что ее невольному сообщнику достанет воспитания оказать услугу бесплатно.

— Сколько вы хотите? — деловито поинтересовалась она, надеясь, что прихваченных из дому десяти злотней хватит.

— Пять злотней. — Гавел смутился.

Все-таки любовь... светлое видение... и пусть сердце Лизаньки принадлежало ненаследному князю, но... нехорошо как-то у любимого человека за пустяковую службу денег испрашивать.

Однако лежал в кармане заветный старухин список. И последних сребней на него не хватит... а еще бы поесть нормально... и к медикусу заглянуть за желудочной настойкой, без которой, Гавел чуял, в ближайшие дни придется туго.

Лизанька торговаться не стала, выдохнула с явным облегчением и, открыв ридикюльчик, вытащила кошель.

— И сплетни мои. — Гавел смотрел, как ловко нежными пальчиками своими она перебирает монеты.

Пять злотней, увесистых, новеньких, упали в ладонь.

— Сплетни? — Лизанька нахмурилась.

Все ж издали, молчащая, она была куда как более очаровательна. В нежном Лизанькином голоске нет-нет да и проскальзывали знакомые ноты...

Чудится.

Совсем его старуха допекла... и Гавел, присев, стянул с ноги ботинок.

— Сплетни, — повторил он, — слухи. Все, что у вас выйдет узнать о конкурсантках...

Ему было неловко, что приходится втягивать Лизаньку в подобную грязь, но разве ж мог Гавел упустить подобный случай? Опыт подсказывал, что раз уж нынешним конкурсом заинтересовался познаньский воевода, да не просто заинтересовался, но отрядил лучшего

своего актора, то следует ждать сенсации...

— Чем... скандальней, тем лучше. — Гавел четыре монеты из пяти спрятал в ботинке, под стелькой. Сей тайник он сам придумал, впервые оказавшись в полиции, где был побит, обобран и обвинен в сопротивлении властям. Обвинение спустя сутки сняли, а вот деньги канули безвестно.

— И... — Лизанька с интересом наблюдала за манипуляциями странного человека, который не стал ничуть приятней, — если я узнаю что-то... вы напечатаете?

— «Охальник» напечатает, — поправил ее Гавел.

Лизанька только плечиком дернула, особой разницы она не усматривала, но идея показалась перспективной...

Сплетни? Поскандальней? Уж Лизанька постарается... Недаром маменька повторяет, что в любви, как и на войне, все средства хороши.

Лизанька улыбнулась.

Она станет княжной... всенепременно станет...

О коварных планах дочери познаньского воеводы Себастьян, конечно, догадывался. И планы сии время от времени доставляли ему немалые неудобства. Однако этим днем занят он был делом иным.

Государственной важности.

Почти.

— Выходи, Себастьянушка. — Ласковый голос Евстафия Елисеевича проникал за тонкую дверь ванной, заставляя Себастьяна вздрагивать.

— Выходи, выходи, — вторил познаньскому воеводе Аврелий Яковлевич.

Старик мерзко хихикал.

Весело ему.

Нигилист несчастный...

— Не могу. — Себастьян поплотнее завернулся в простыню.

— Почему?

— Я стесняюсь.

Простыня была тонкой и бесстыдно обрисовывала изгибы Себастьяновой фигуры. Нет, следовало признаться, что при всей своей благоприобретенной мизантропии Старик дело знал и силы в Себастьянову трансформацию вкачал немерено. А панночка Тиана Белопольска, избавленная от ужасающего своего наряда, оказалась чудо до чего хороша.

Ах, какие вышли ноги...

...на таких ногах Себастьян сам бы женился.

А грудь? Не грудь, а загляденье... и талия тонка... и задница на месте... и даже хвост изменился согласно новому образу, сделавшись тоньше, изящней. На конце же проклюнулась белая кисточка, донельзя напоминавшая Себастьяну любимую матушкину пуховку.

Начальство молчало.

Себастьян держался одной рукой за простынь, другой — за ручку двери, потому как молчание это ему казалось крайне подозрительным.

— И чего же ты, свет мой, стесняешься? — гулким басом поинтересовался Аврелий Яковлевич, к двери приникая.

— Вы глазеть станете.

— Станем, всенепременно станем, — уверил ведьмак и в дверь стукнул. Легонько.

Кулаком. Вот только кулаки у Аврелия Яковлевича были пудовые.

— Себастьянушка, — познаньский воевода отступил, решив воззвать к голосу разума, который твердил Себастьяну, что ручку двери отпускать не стоит, — мы же должны увериться, что превращение прошло... успешно.

— А если на слово?

Аврелий Яковлевич громко фыркнул и, пнув хлипкую дверь, которая от пинка треснула, велел:

— Выходи немедленно...

— Себастьянушка, ну что ты смущаешься... все ж свои...

Свои в данный момент Себастьяна пугали ничуть не меньше, чем чужие, пусть и существовавшие пока сугубо в теории.

Но ручку он выпустил.

— ...что ты ведешь себя, аки девица, — продолжил увещевать познаньский воевода.

— А я и есть девица, — мстительно отозвался Себастьян Вевельский, повыше поднимая простынку, которая норовила съехать самым что ни на есть предательским образом.

— Ты прежде всего старший актер воеводства Познаньского и верноподданный его величества...

На подобный аргумент возражений не нашлось, и Себастьян, придерживая простыню уже обеими руками, вышел.

В небольшой и единственной комнате конспиративной квартиры воцарилось молчание.

Недружелюбно молчал ненаследный князь Вевельский, пытаясь правым глазом смотреть на начальство — и пусть прочтет оно в этом глазу всю бездну негодования и вселенскую тоску, глядишь, и усовестится. Глаз же левый зацепился за Аврелия Яковлевича, который вроде бы ничего не делал, но не делал он это как-то слишком уж нарочито.

С показным равнодушием.

Стоял себе над секретером да теребил свою включенную бороду.

Усмехался...

— Видишь, Себастьянушка. — Начальство если и истолковало взгляд верно, то усовеститься не спешило. Напротив, подступало медленно, с неясными намерениями. — Не все так и страшно...

— Не люблю баб, — поспешил добавить Аврелий Яковлевич. — Все дуры.

Себастьян обиделся.

Так, на всякий случай.

И в простыньку вцепился, поинтересовавшись севшим голосом:

— Евстафий Елисеевич, а что это вы делаете?

Познаньский воевода, успевший ухватить простыню за краешек, застыл.

И покраснел.

Наверное, тоже на всякий случай.

— Так ведь... Себастьянушка... ты закутался... ничего и не видно.

— А что должно быть видно?

— Дура, — добавил старый маг и, выгавив из-за спины солидную трость, больше дубинку напоминавшую, ткнул в Себастьяна, — как есть дура.

— Сами вы, Аврелий Яковлевич, дура...

Ведьмак лишь хмыкнул.

А Евстафий Елисеевич, смахнувши со лба крупные капли пота, жалобно произнес:

— Да мы только взглянем!

Нет, в словах познаньского воеводы имелся резон, и хоть бы изрядно замызганное зеркало в ванной позволило Себастьяну осмотреть себя, но... мало ли чем обернется чужая сила, переплавившая тело?

И амулетик, надежно вросший в левую лопатку — Аврелий Яковлевич клятвенно обещал, что сие исключительно временная мера и после амулетик он вынет, не из любви к Себастьяну, но потому как не имеет привычки ценными вещами разбрасываться, — ощущался. Себастьяна тянуло потрогать, убедиться, что не причудилась ему горячая горошина под кожей, но он терпел, понимая, — нельзя.

Правда, терпение дурно сказывалось на характере.

А может, чужая личина, столь подозрительно легко воспроизведенная, характер показывала. И оттого Себастьян, легонько хлопнув по начальничьим пальцам, произнес капризно:

— Все вы так говорите! Сначала только взглянуть, потом только потрогать... глазом моргнуть не успеешь, как останешься одна и с тремя детьми.

Евстафий Елисеевич густо покраснел, ведьмак же снова хмыкнул и, вцепившись в бороду, выдрал три волосинки, которые бросил Себастьяну под ноги, что-то забормотал... волосы растаяли, а спину обдало холодком. Хвост же зачесался, избавляясь от редких чешуек.

— Видишь, Себастьянушка... а если на конкурсе чего проклянется? Рога к примеру... или крылья... стой смирно.

С хвостом и крыльями Себастьян как-нибудь без посторонней помощи управится. А вот что горошина амулета жаром плеснула, это да... плеснула и исчезла, растворившись под кожей.

— Евстафий Елисеевич! Я Дануте Збигневне пожалуюсь, что вы ко мне пристааете!

Начальство простынку выпустило, но тут же, смущение поборов, вновь вцепилось, резонно заметив:

— Не поверит она тебе, Себастьянушка...

— Посмотрим. — Себастьян попытался вывернуться, но комнатуха была малой, ко всему — заставленной мебелью. — Я вот завтра заявлюсь в этом самом виде и... и скажу, что вы меня соблазнили!

Подобного коварства от старшего актора Евстафий Елисеевич не ожидал. И, ободренный замешательством, Себастьян продолжил:

— Соблазнили. Лишили чести девичьей... а жениться отказываетесь!

— Так я ж...

Евстафий Елисеевич, видимо живо представив себе сцену объяснения Себастьяна с дражайшей Данутой Збигневной, побагровел и схватился за живот. Никак язва, оценив перспективы, последующие за объяснением, ожила.

— Не отказываетесь? — В черных очах Себастьяна вспыхнула надежда. — Я знала, Евстафий Елисеевич, что вы порядочный человек!

Темноволосая красавица протянула руки, желая заключить познаньского воеводу в объятия, и простынка соскользнула с высокой груди...

— Я... — Евстафий Елисеевич считал себя человеком семейным и супруге своей никогда-то не изменял... а теперь и вовсе, забыв об изначальных намерениях, попятился, от этой самой груди взгляд старательно отводя. До самой двери пятился и, прижавшись к ней,

выставил перед собой зонтик, забытый кем-то из акторов. — Я женат!

— Разведетесь.

— Я жену свою люблю!

— А меня? — Красавица часто заморгала, а по смуглой щеке ее поползла слеза. — Вы мне ввали, Евстафий Елисеевич, когда говорили, что любите меня?

— Когда это я такое говорил?

— Когда орден вручали, — мстительно напомнила панночка Белопольска. — Так и сказали, люблю я тебя, Себастьянушка... неужто позабыли?

Сей эпизод в своей жизни, сопряженный с немалым количеством вевелевки, выставленной Себастьяном по случаю ордена, Евстафий Елисеевич желал бы вычеркнуть из памяти.

— И еще говорили, что я — отрада души вашей... свет в окошке... надежда... говорили ведь?

Говорил. Был за познаньским воеводой подобный грешок: в подпитии он становился многословен и сентиментален...

— Вот! Говорили. А жениться, значит, не хотите. Попользовались и бросили... обесчестив!

— Прекрати! — рявкнул Евстафий Елисеевич, приходя в себя. — Что за балаган...

— Не люблю баб. — Аврелий Яковлевич с явным удовольствием разглядывал дело рук своих. — Стервы они. И истерички.

Поразмыслив, следить Гавел решил не за ненаследным князем, каковой к слежке был весьма чувствителен, но за познаньским воеводой. Конечно, и тот был актором, но давно, и успел привыкнуть к существованию кабинетному, спокойному, избавленному от докучливого внимания людишек.

И ныне привычка сия подвела Евстафия Елисеевича.

Он покинул управление, отказавшись от служебного экипажа, но кликнув извозчика. И Гавелу немало пришлось постараться, чтобы не выпустить из поля зрения пролетку, каковых на улицах Познаньска было великое множество.

Экипаж сей высадил Евстафия Елисеевича на перекрестке, и познаньский воевода, поправив котелок, каковой прикрывал обильную лысину, бодрым шагом двинулся по улочке.

Впрочем, Гавел уже понял, куда тот идет.

О конспиративной квартире, расположенной на третьем этаже доходного дома, Гавел знал давно, но знание это, как и многую другую информацию, которую случалось добыть, он держал при себе.

Пригодится.

Пригодилось. И сухонькая старушка, обретавшаяся этажом выше, Гавела вспомнила.

— Два сребня, — сказала она с порога, безбожно задирая цену. — Вперед.

Пришлось отсчитать монеты, и старуха разглядывала каждую пристально, разве что на зуб не пробовала, да и то лишь потому, что зубы свои давным-давно растеряла. Наконец, ссыпав горсть медяков в кошель, а кошель упрятав в карман ситцевого халата, она посторонилась.

В комнатухе резко пахло геранью и кошками. С прошлого раза почти ничего-то и не изменилось, разве что прибавилось вязаных салфеточек, а стены, помимо былых, весьма трухлявых цветочных композиций, украсили дагерротипические карточки хозяйки с

котеночком на коленях.

Впрочем, карточки и котеночки Гавела интересовали мало.

Дырку, просверленную в полу прошлым разом — старушенции пришлось заплатить отдельно за ущерб, имуществу нанесенный, — она не заделала. Более того, у дыры появились слуховая трубка и мягонькая подушечка с кривоватой кошачьей мордой, вышитой крестиком. Один глаз кошки был зеленым, другой — желтым. Подушечку старушенция, поджав тонкие губы, убрала.

Сама же осталась.

— Вы бы пошли, бабушка, погуляли, — миролюбиво предложил Гавел, подгребая верную камеру под бок. Уж больно заинтересовался ею матерый черной масти зверь, с чьей морды и вышивали портрет. Шкура кошки лоснилась, а шею украшал пышный голубой бант с бубенчиком.

Зверь щурился, потягивался и демонстративно выпускал когти.

— Уголечка не бойся, — сказала старушенция, напрочь проигнорировав предложение Гавела. А зря, в ее возрасте прогулки полезны для здоровья. — Он смирный.

Кот оскалился и заурчал, наглядно демонстрируя степень своей смирности.

Пакость!

И Гавел решительно склонился над дырой, именно для того чтобы услышать...

— ...не люблю баб. — Этот гулкий, точно колокольной бронзой рожденный голос заставил Гавела замереть.

С ведьмаком, о котором слухи ходили самые разнообразные, но все, как один, свойства дурного, напрочь отбивающего охоту связываться с Аврелием Яковлевичем, Гавел сталкивался.

Один раз.

Один растреклятый раз, на память о котором достались почесуха, заикание и косящий глаз. И если почесуху с заиканием Гавел кое-как изжил, то с глазом и по сей день неладно было. Он задергался, мелко, нервно, предчувствуя неладное.

— Евстафий Елисеевич, а что это вы делаете? — игриво поинтересовался низкий женский голос, Гавелу незнакомый.

Он даже взопрел от неожиданности.

Выходит, что не так уж чист и уныл познаньский воевода, как думалось...

...и воевода тоже?

А ведьмак как же?

Или их там трое?

Гавел заерзал, привлекая внимание кошки, который подобрался вплотную и, вытянув когтистую лапу, попытался выцарапать трубку.

— Кыш, — прошипел Гавел и рукой отмахнулся.

Но отвлекся, видать, потому как услышал лишь обрывок фразы:

— ...ничего и не видно!

Кому не видно?! И что именно не видно?

— Дура, — донеслось из дыры сиплое, — как есть дура.

Трое. Определенно трое... ведьмак, воевода и неизвестная женщина...

— Да мы только взглянем!

На что? Хотя известно, на что смотрят в таких случаях. Воображение Гавела, в меру испорченное карьерой и действительностью, с которой ему приходилось иметь дело,

заработало, сочиняя новую, несомненно скандальную, статейку.

— Все вы так говорите! Сначала только взглянуть, потом только потрогать... глазом моргнуть не успеешь, как останешься одна и с тремя детьми.

Кем бы ни была неизвестная женщина, но характером она определенно обладала весьма непростым. Ответа воеводы — а ведь Гавел почти поверил, что есть на свете порядочные люди, — он не расслышал, потому как Хельмов кошка взвыл дурниной и, взлетев на комод, опрокинул пару безделушек.

Старуха захохла и громко принялась уговаривать скотину с комода слезть. Кошак жмурился и гулял по бровке, поглядывая на хозяйку с презрением...

— Евстафий Елисеевич! — меж тем донеслось из дыры. — Я Дануте Збигневне пожалуюсь, что вы ко мне пристааете!

— Не поверит она...

Кошак взвыл дурным голосом и спину выгнул.

— Брысь!

— Посмотрим, — уверенно заявила незнакомка, рисковая, должно быть, женщина, ежели хватило у нее смелости шантажировать самого познаньского воеводу. — Я вот завтра заявлюсь в этом самом виде... и скажу, что вы меня соблазнили!

А голос-то бархатистый...

Уголечек, к совести которого хозяйка взывала слишком уж громко, и тот замолк.

— Соблазнили. Лишили чести девичьей... а жениться отказываетесь!

— Так я ж...

— Не отказываетесь? — воскликнула женщина с пылом. — Я знала, Евстафий Елисеевич, что вы порядочный человек!

Кошак, поняв, что грозный вид его несколько чужака не впечатлил, пошел в наступление. Он спустился и, обойдя хозяйку по дуге, двинулся к склонившемуся над дырой человеку. Зверь вышагивал гордо, что породистый иноходец, то подбираясь к грязному, пропахшему помойкой и чужим, кошачьим же духом гостю, то отступая.

Тот же, увлеченный происходящим в третьей квартире, не замечал ничего вокруг. И зад выпятил.

— Я... — продолжал отбиваться воевода. — Я женат!

— Разведетесь.

— Я жену свою люблю!

— А меня?! — гневно воскликнула женщина, которой Гавел в эту минуту посочувствовал от всего сердца. — Вы мне ввали, Евстафий Елисеевич, когда говорили, что любите меня?

— Когда это я такое говорил?

Кошак замер и, хлестанув себя по бокам, сугубо для куражу, взлетел на сторбленную спину. Острые когти его пробили и шерстяной пиджачок, который Гавел отыскал в лавке старьевщика, и застиранную рубашку, и шкуру, которой случалось страдать и прежде, пусть даже не от кошачьих когтей.

Гавел не взвыл, как кот, единственно по причине немалого опыта, каковой сводился к тому, что как бы ни было плохо, стоит себя обнаружить, и станет еще хуже.

Он поднялся и, сунув руку за спину, ухватил кошака за хвост.

Потянул.

— Уголечек! — взвизгнула старуха.

Кошак отрывался плохо, орал и цеплялся когтями, а из заветной дыры, сквозь вой доносилось обрывочное:

— И еще говорили, что я — отрада души вашей... свет в окошке... надежда...

[Купить полную версию книги](#)

notes

Летальный исход.

Букв. «образ действия» (*лат.*); в психологическом контексте термин используется для описания чьих-либо поведенческих привычек.

Экстраординарный случай.

История учит жизни (*лат.*).

Всему свое время (*лат.*).

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (*лат.*).

познай себя (*лат.*).

Грань — разновидность парчи.